

ЭРНЕСТ УДЕТ

ЖИЗНЬ ЛЕТЧИКА

Полет над вражеской территорией.....	1
Первые бои.....	12
Смерть летит быстрее.....	17
Рихтгофен.....	26
Возвращение домой.....	33
Конец.....	40

7

Е.М.Ковалев. Эрнест Удет: краткая биографическая справка.

Полет над вражеской территорией

Не успел я войти в комнату, как услышал слова Ниехауса: "Удет, ступайте и доложите о своем прибытии лейтенанту Юстиниусу. Он уже дважды за вами посылал."

Я поправил фуражку так, чтобы кокарда находилась точно над переносицей и направился по дороге, идущей вдоль шеренги серых бараков. Курсанты-летчики, возвращавшиеся с утреннего марш-броска, с бряцанием и лязганьем промаршировали мимо меня, неся полевые ранцы и карабины.

Что могло понадобиться от меня Юстиниусу? Может быть он выяснил наконец, кто облил бензином хвост собаки, принадлежащей нашему капитану? Стал бы он вообще беспокоиться об этом? Кроме того, вряд ли он находится здесь, в Дармштадте, только для того, чтобы устраивать нагоняй пилотам. Прежде у него не было обыкновения вмешиваться во внутренние дела резервистской летной части.

Я постучал в узкую дверь, на которой была прикреплена маленькая белая карточка: "Л-т. Юстиниус" и вошел.

Юстиниус, в форменной рубашке, лежал на своей койке. Его китель был повешен на спинку кресла, в петлице была прикреплена бросающаяся в глаза ленточка Железного Креста. За открытым настеж окном разгорался погожий летний денек.

Я встал по стойке смирно.

"Садитесь, Удет", сказал Юстиниус, ногой столкнув со стула на пол пачку газет.

Я присел и уставился на него в ожидании.

"Сколько Вам лет?", начал он без предисловий.

"Девятнадцать, герр лейтенант".

"Хм", проворчал он, "слишком молод."

"Но скоро мне исполнится двадцать", добавил я быстро, "в апреле следующего года."

От смеха у его глаз собрались морщинки. "Ну что ж, тогда вам лучше с этим поторопиться", сказал он. "А как вы начали летать?"

Я начал понимать, зачем он меня позвал.

"Когда мне должно было исполниться пятнадцать, я был отчислен из мотоциклетной части, к которой был приписан в качестве добровольца", ответил я нетерпеливо, "и немедленно подал рапорт о переводе в резервистскую летную часть. Но они отказались меня взять."

"Почему?"

"Потому что я был тогда еще молод", признал я неохотно.

Юстиниус снова засмеялся. "И что было потом?"

"После этого я получил подготовку в качестве частного пилота на заводе Отто в Мюнхене."

"За свой счет?"

"Мой отец заплатил две тысячи марок и отделал ванную комнату для господина Отто."

Я хотел продолжить, но Юстиниус прервал меня, взмахнув рукой. Он поднялся, и долго разглядывал меня своими жесткими голубыми глазами. "Хотите летать со мной пилотом?", спросил он.

Хотя я уже ждал, что он именно так и скажет, я все равно покраснел. От радости. Потому что Юстиниус - отличный парень. "Чертов сердитый пес", говорили о нем курсанты.

"Конечно, герр лейтенант", взревел я против всех правил. Он кивнул мне дружески.

"Хорошо".

Я встал и направился к двери. Не успел я дойти до нее, как он вернул меня. "Этим вечером свободны?" Когда я ответил, что да, он сказал, "Тогда нам нужно отпраздновать наше "бракосочетание", Эмиль.

"Да, господин лейтенант, Франц.

Говоря с ним, я рискнул ответить именно так. На языке пилотов имя "Эмиль" по традиции носили все пилоты, а имя "Франц" - наблюдатели. Но я еще не осмеливался назвать его просто "Франц".

К утру мы вернулись. Я просрочил свою увольнительную и Юстиниус набросил свой офицерский плащ мне на плечи, чтобы я смог пройти мимо часовых.

На следующий день, во время тренировочных полетов над ГRIESХАЙМСКОЙ равниной мы с моим курсантом чуть было не разбились. Перебирая в памяти разговоры прошлой ночи я забыл вовремя постучать по его летному шлему. Этот парень, высокий, толстый торговец деликатесами всегда слишком торопился выравнивать самолет при посадке. Я должен был подавать ему команды с помощью прогулочного стека. На этот раз он получил от меня сигнал в самый последний момент.

Четырнадцать дней прошло с тех пор, как я присоединился к 206-й эскадрилье в Хейлигкрейце. Каждый день мы с Юстиниусом совершали несколько полетов. Наша обычная работа заключалась в корректировке артиллерийского огня. Мы летали над одним и тем же участком фронта, где Три Уха, черное и белое озера, оттененные склонами Вогезов, слепили нас как бассейны с расплавленным свинцом.

Только изредка нам приходилось летать дальше. Однажды мы залетели так далеко, что смогли увидеть круглое навершие церковного шпиля в Диз, видневшегося за грядой холмов. Когда-то давно, когда началась война, мы были мотоциклистами. Сколько же времени прошло с тех пор - девять месяцев, или девять лет? Пятеро из нас отправились на фронт в самом начале войны, в августе, но только трое вернулись домой в декабре. Одного убили французы, другой покончил жизнь самоубийством, потом что не смог примириться с войной и с тяжелыми требованиями службы. Как все это далеко в прошлом! Иногда я думаю, что все это случилось со мной в какой-то другой жизни.

Временами мы встречали противника. Но мы, пилоты самолетов-разведчиков, не могли причинить друг другу никакого вреда. У нас на борту почти не было никакого оружия и обе стороны это знали. Поэтому мы расходились как корабли на море. С началом осени война в воздухе становилась все более жестокой. Поначалу с самолетов на войска внизу стали метать стальные стрелы. Сейчас начали изготавливать бомбы, воздействие которых было почти равно эффекту от разрыва снарядов. Для того, чтобы поразить противника возможностями этого нового изобретения, 14 сентября был предпринят воздушный налет на Бельфор, в котором участвовали все имеющиеся в наличии самолеты.

Юстиниус и я летим вместе. Стоит серый день и мы прорываемся сквозь пелену облаков только на высоте трех с половиной километров. Здесь наверху стоит удивительная тишина, воздух почти неподвижен. Наш Авиатик-В со 120-сильным мотором Мерседес скользит в вышине как лебедь. Юстиниус часто перегибается через борт чтобы посмотреть на землю, видимую сквозь разрывы в облачном покрове.

Внезапно раздается резкий металлический звук. Как будто оборвалась струна пианино. В следующий момент машина накрывается влево, входит в штопор и, вращаясь, падает в облака. Впереди я вижу бледное и вопрошающее лицо обернувшегося ко мне Юстиниуса. Я пожимаю плечами. Я и сам еще не знаю, что произошло. Я знаю лишь, что должен давить на правую педаль со всей силы и удерживать штурвал до тех пор, пока мои руки не начинают сводить от напряжения. Мы теряем почти километр высоты, прежде чем мне удастся выравнять самолет. Он все еще кренится, но больше не вращается и у нас появляется надежда, что мы сможем приземлиться. Но это означает плен! Мы все еще в пятнадцати километрах от немецких траншей.

Юстиниус указывает на правое верхнее крыло. Я вижу, что растяжка, на которой крепится трос, вырвана с мясом. Трос болтается в воздухе и давление воздуха выворачивает крыло вверх. Мы планируем на восток, по направлению к Швейцарии. Для того, чтобы замедлить потерю высоты, я периодически запускаю двигатель. Машина тут же снова начинает поворачивать в сторону. Крен все больше и больше, и я боюсь, что мы опять войдем в штопор. Я останавливаю двигатель.

Мы выходим из облаков над Монбельяром. Альтиметр показывает 1800 метров, и швейцарская граница все еще в 12 километрах от нас. Кажется, что мы никогда до нее не долетим.

Юстиниус встает на ноги и медленно вылезает из кабины на правое крыло, направляясь к центральной стойке. Здесь он ложится на крыло, его ноги болтаются в воздухе. Мое сердце поднимается к самому горлу только при виде одной этой картины. Мы находимся на высоте 1600 метров. Я вновь запускаю двигатель, и машина снова кренится в сторону. Противовес, который обеспечивает Юстиниус ошутим, но не достаточен.

Я не смогу так долго удерживать штурвал. Я чувствую, что мои руки начинают дрожать. Я машу Юстиниусу. Рука, онемевшая от напряжения, не слушается меня.

"Назад", я кричу, "Ползи назад!" Слово "герр" и другие формальности забыты.

И Юстиниус возвращается. Медленно он ползет вдоль наклонной плоскости крыла и карабкается назад в кабину.

Несколько сильных ударов сотрясают самолет, тонкое деревянная перегородка между сиденьями наблюдателя и пилота разломана на куски. Появляются две руки, в кровь разбитые разлетевшимся на куски деревом, хватаются за штурвал. Юстиниус здесь, он помогает мне!

Его бледное лицо, покрытое испариной от потери сил, появляется в проломе. "Мы должны продержаться, парень", кричит он, "до Швейцарии". Мы находимся на высоте тысяча метров и все еще в восьми километрах от границы.

Земля внизу совершенно не тронута войной - деревни с красными крышами, скрывшиеся в сочной зелени плодовых деревьев, шахматная доска полей.

Наконец-то! Справа, прямо по полям, бежит колючая проволока, барьер, который поставили швейцарцы для того, чтобы задерживать французских дезертиров. На высоте шестисот метров мы пересекаем границу недалеко от Сент-Дизьера.

"Швейцария!", кричу я, наклонившись вперед. Лицо Юстиниуса вновь появляется над выломанной перегородкой. "Тяни до Германии", кричит он мне.

Газ, скольжение, газ, скольжение. Мы несемся на малой высоте. На улицах деревушек люди останавливаются и стоят, раскрыв рот от изумления. Вот это, должно быть, Куртремарш. Вот Вендлинкур. И вот - снова колючая проволока, - немецкая граница!

Мы приземляемся на свежеспаханном поле, выпрыгиваем из самолета. Смотрим друг на друга - и вдруг что-то охватывает нас как пьяное безумие. Нет больше лейтенанта Юстиниуса и рядового Удета, только "Франц" и "Эмил", двое мальчишек, прыгающих как индейцы Сиу у тотемного столба, поднимающих тучи пыли и бросающихся комьями земли друг в друга как снежками. Наша посадка не осталась незамеченной, и вот уже люди бегут к нам прямо через поле. Мы восстанавливаем самообладание. Юстиниус просит какого-то велосипедиста отправится в близлежащий городок и позвонить в Хейлигкрейц.

Пока мы ходим взад и вперед у аэроплана, толпа любопытных зрителей постепенно становится все больше. Юстиниус хлопает меня по плечу. "Знаешь что?", говорит он. "Мы попросим их сделать нам новую растяжку и вернемся домой своим ходом". Отличная идея.

Кузнец из Винкеля разглядывает деталь, сморщив лоб. "Через три часа я сделаю для вас новую." Мы бредем назад к самолету и народ идет за нами следом как будто мы какие-то канатоходцы из бродячего цирка.

Серый автомобиль мчится по дороге и тормозит рядом с нами. Из него выходит офицер и толпа расступается, открывая проход. Офицер, штабной работник, подходит к нам.

Юстиниус рапругает, и штабной пожимает нам руки. "Отличная работа, мальчики". Он подходит к самолету. "Что с ним случилось?"

Юстиниус, сияя: "Уже чинится, герр гауптман".

"Что!?", кричит штабной.

Он выходит из себя. Бракованная деталь должна быть передан в руки проверочной комиссии. Вы должны были это знать!

Мы, подавленные, молча влезает в автомобиль и мчимся к деревенской кузнице. Кузнец встречает нас на пороге. Удовлетворение мастера своего дела написана у него на лице. "Вот". Он вручает нам новую растяжку.

"А где старая?", пронзительно звучит вопрос штабного офицера. Кузнец указывает большим пальцем через плечо куда-то в сторону скотного двора. Ворота открыты и посередине можно видеть большую навозную кучу. На ее вершине, роясь и греясь в солнечных лучах, попискивают цыплята. "Хорошо", поищем ее, принимает решение штабной. Я вхожу во двор, за мной следом идет Юстиниус.

Растяжку легко найти, она лежит на самой вершине кучи. Мы обмываем ее под водопроводным краном и приносим капитану. Он смотрит на нее и опускает в карман. Кузнец получает свои деньги и мы снова залезаем в автомобиль. Мы должны ехать в Мюльхаузен. Кузнец смотрит нам вслед, качая головой.

Штабной еще не остыл. "Болваны", ворчит он себе под нос. Затем, пожав плечами, он поворачивается к нам и неожиданно сменяет гнев на милость. "Вы должны извинить мое волнение, господа. Но только что сегодня разбились два летчика из вашего авиаотряда, лейтенант Винтер и сержант Прейсс. Врезались в землю у Хартмансвейлеркопфа. Вероятно из-за того же самого дефекта. Оба погибли!"

Наше приподнятое настроение омрачено.

Через неделю появляется бюллетень с заметкой: "Лейтенант Юстиниус награжден Железным Крестом первого класса, рядовой Удет - Железным Крестом второго класса. Они сохранили свой самолет для фатерлянда".

Назначен еще один бомбардировочный рейд. На этот раз наша цель - неприятельские укрепления в Вогезах. Полет на дальнее расстояние, так что топливный бак заполнен до самой горловины. Кроме всего прочего мы берем на борт два пулемета. Считается, что в этом районе часто летают французские истребители. Кое-кто поговаривает даже о Пегу.

На взлете машина поднимается в воздух с большим усилием, как лебедь, набитое брюхо которого слишком тяжело для его крыльев. Пулеметы, наполненные бензином баки, новое радио, бомбы - все это тянет вниз. Я вхожу в пологий поворот, продолжая подниматься. Под нами - аэродром. Темная зелень пастбища, серые прямоугольники полотняных палаток. Мы карабкаемся вверх медленнее, чем обычно - одна сотня метров, другая.

Прямо над палатками я пытаюсь выровнять машину. Она не ложится на прямой курс, продолжая валиться на левое крыло. Я тяну штурвал вправо - но рули больше не слушаются меня. Скорость падает! Мгновение спустя самолет опускает нос вниз и с ускорением мчится навстречу земле.

"Юстиниус", думаю я, "Боже мой, он погиб! Как только мы коснемся земли, двигатель отбросит назад и размозжит ему ноги". Я тяну штурвал на себя. Толкаю его вправо, толкаю, толкаю... Прямо передо мной из отсека наблюдателя появляется рука и хватается за расчалку.

Судорожным рывком Юстиниус выталкивает себя из кокпита и усаживается на спинку своего сиденья. "Удет", кричит он, "Удет - У...". Грохот, треск, все темнеет... в голове мощно гудят колокола...

И затем, после долгого перерыва, чей-то голос: "Живы, герр Удет?" Надо мной склонилось толстое лицо Беренда, моего механика, охваченное беспокойством.

Затем четыре сильные руки хватают меня и вытаскивают из переплетения стали и дерева. Мое колено зажато, болит ужасно. Сначала они должны отжать эту стальную трубку.

"Где Юстиниус?"

Беренд кивает на траву. Вот он, лежит на спине, с закрытыми глазами.

"Мертв?", - кричу я.

Беренд, успокаивая: "Нет, нет, он в порядке. Он уже спрашивал о вас".

Они поднимают меня вдвоем с кем-то, и осторожно кладут на траву рядом с Юстиниусом. Какое-то время я лежу неподвижно. Надо мной бледное голубое небо, подо мной влажная, холодная трава и твердая, дышащая испарениями земля. Медленно я поворачиваю голову в сторону Юстиниуса. Его глаза все еще закрыты. Тонкая струка крови стекает по подбородку.

Неужели?...

Но его рука тянется ко мне, как будто рука больного над простынями. Осторожно я поднимаю свою руку и чувствую его рукопожатие. Хорошее, дружеское рукопожатие. Мы не можем проронить ни слова.

"Летenant Юстиниус... Юстиниус, мой товарищ!"

Рядом с нами механики возятся с машиной. "Н-да-а..., повезло им, что бомбы не взорвались", слышу я голос Беренда. Затем появляются медики, кладут нас на носилки и ставят в автомобиль как две буханки хлеба. По прибытии в госпиталь в Кольмаре нас разъединяют.

Юстиниус, которого выбросило из самолета при ударе, получил ссадины и контузию. Мое колено повреждено. Нога висит на растяжке и мне придется какое-то время пробыть в постели.

Через десять дней мне разрешили первый раз прохромать по коридору. Все это время у меня не было никаких известий из дома и никто из моих друзей не навещал меня. Кажется, что весь остальной мир меня забыл.

Мне надо назад в часть. Я лежу еще десять дней, а затем я говорю об этом доктору. Он поднимает удивленно брови. Но, помимо всего прочего, я не в пехоте, и это не его нога. И он вручает мне бумаги на завтрашнюю выписку.

Первый, на кого я наталкиваюсь на аэродроме - мой приятель, с которым я часто ходил в увольнительную в Кольмар, тоже пилот нашего авиаотряда. Я приветствую его, а он отвечает мне с некоторым смущением и быстро проходит мимо. Это могло быть совпадением, но вот и те трое, стоящие перед большой палаткой, демонстративно поворачиваются ко мне спиной.

Наконец я наталкиваюсь на Беренда. Он скребет в затылке и отводит меня в угол между палатками. Вот чертова история. Как только мы пошли вниз, офицер бросился к телефону и вызвал начальника штаба. Он устроил настоящую бурю: рядовой Удет только что разбился из-за своего рискованного пилотирования. Он потребовал, чтобы Удет был немедленно отстранен от своих обязанностей и сурово наказан. Все в дежурной комнате слышали его. "Самое суровое наказание!", пронзительно верещал он. Замена мне уже прибыла и я могу собирать свои бумаги. Я переведен в летный парк в Нейбрейзахе.

Беренд печально качает головой. Я благодарю его, собираю свои бумаги и прихрамывая иду к себе. После обеда я сижу на диване, раненная нога вытянута. Моя хозяйка, стоя на коленях, упаковывает мой чемодан. Ее лицо опухло от плача и время от времени она издает глубокий вздох. Я всегда считался одним из ее лучших жильцов и никогда не вычитал стоимость порошка против клопов из арендной платы.

В дверь стучат. На пороге стоит Юстиниус. Он подходит ко мне и когда я пытаюсь встать, толкает меня назад, на зеленый плюшевый дивана.

"Остынь, Которышка!", говорит он дружески. "Так всегда бывает, то вверх, то вниз. Кроме того, мы же на службе."

Он хлопает меня по плечу и сует мне в руку коробку с сигаретами. Затем он уходит. Через несколько минут ему предстоит вылет с моим преемником.

Я больше никогда не видел Юстиниуса. Он погиб в 1917 году на Западном фронте, став пилотом-истребителем.

Я прибываю в летный парк Нейбрейзаха после наступления темноты. "Ага, перед нами тот самый господин, который не умеет летать по прямой", говорит сержант. Писари ухмыляются. Уже поздно, и меня посылают на склад за постельным бельем. Всю ночь я ворочаюсь с боку на бок и не могу сомкнуть глаз ни на минуту.

На следующее утро курсанты выбегают на двор. Я должен оставаться в бараке. Затем кто-то зовет и меня.

Капитан стоит перед строем и смотрит на меня с мрачным и угрожающим выражением лица. Я выхожу вперед на деревянных ногах.

"Кру-у-гом!", командует он, и я поворачиваюсь. Сотни пар глаз смотрят на меня с любопытством.

"Только взгляните на него!", грохочет голос за моей спиной. "Небрежное пилотирование этого болвана стоило фатерлянду новой, дорогостоящей машины и поставило под угрозу жизнь его наблюдателя".

Курсанты смотрят на меня так, как будто я только что прикончил своего собственного отца.

Шелестят бумаги, и капитан читает в холодной и деловой манере:

"За свое небрежное маневрирование, которое создало угрозу для жизни наблюдателя и привело к разрушению дорогостоящего самолета рядовой Удет будет подвержен семидневному аресту. Только предшествующее достойное поведение на поле боя, принимаемое во внимание в качестве смягчающего обстоятельства, предотвращает более серьезное наказание".

"Пусть это послужит уроком всем вам", добавляет он громовым голосом, и обращаясь ко мне: "Вольно!"

Я возвращаю свое белье в каптерку. Затем капрал, с карабином на плече, подходит ко мне чтобы увести под арест. Путь на гауптвахту проходит через самый центр города. Мы идем по улице, я - впереди, капрал - сзади. Я смотрю только вниз, на тротуар. По положению ботинок всех встречных я замечаю, что многие останавливаются, чтобы посмотреть на нас.

Гауптвахта находится в старой крепости, темной и бесцветной. Надзиратель, старик с бородой, сопровождает свою работу ободряющей болтовней:

"Теперь ты уже не сможешь повеситься", говорит он, отбирая мои подтяжки.

"А теперь - не сможешь зарезаться", когда я передаю ему мой перочинный нож.

"А сейчас - зубы".

"Почему это - зубы?!", спрашиваю я.

"Чтобы ты не перегрыз себе глотку", отвечает он. Все, смеются, кроме меня. Я не расположен к веселью.

Затем меня запирают в камеру. Это маленькая комнатка с голыми стенами, деервянная койка, табурет, умывальник, больше ничего. На окне - стальной козырек. Виден только краешек неба, как будто смотришь со дна глубокого колодца.

Ключ поворачивается в замочной скважине. И я остаюсь один. Вместе с моими мыслями. Как долго, не знаю. Затем я слышу шаги по каменным ступеням и дверь открывается: обход.

Я вскакиваю.

Начальник, престарелый унтер-офицер говорит: "Повторяй за мной: рядовой Удет...", его голос звучит могучими раскатами в голой комнате.

"Рядовой Удет", повторяю я. И слово за словом падает на меня, отдаваясь гулким эхом:

"...отбывает ... семь дней... ареста... за небрежное маневрирование... которое создало угрозу

для жизни наблюдателя... и привело к разрушению дорогостоящего самолета".

Процессия уходит. Но вечером возвращается. И снова, старший начинает: "Рядовой Удет, отбывает..."

На следующий день я знаю маленькую речь наизусть и проговариваю ее без подсказки. За время моего ареста я должен делать это два раза в день, всего четырнадцать раз.

Первый обед я оставляю в тарелке. Ячмень безо всего, "голубой Генрих" на тюремном жаргоне. Краснобородый стражник, совсем этим не озабоченный забирает металлический котелок и уносит с собой.

"Со временем будет и аппетит", комментирует он сухим тоном, уходя. Вечером он швыряет в мою камеру матрас. Небо в прямоугольнике окна темнеет и я ложусь. И вдруг, укус в бок, другой - в левое плечо... клопы!

Меня ждет долгая ночь. Я сплю то на голой койке, то на матрасе, то просто на каменном полу. Клопы кусают жутко, но мысли еще хуже. Железные козырьки на окнах похожи на уши тюремных стен. Они усиливают все доносящиеся извне звуки, направляя их в глубину камер. Аэродром совсем близко, и с раннего утра я слышу кашель запускаемых двигателей, затем низкое органное гудение пропеллеров, взбивающих воздух.

Никогда я больше не буду сжимать ручку управления. Никогда не увижу мир, исчезающий подо мной в голубой дымке. Что именно я сделал? Просто круто поворачивал. Конечно, глубокие виражи запрещены. Только месяц назад они отдали Ригера под суд военного трибунала и приговорили его к году тюремного заключения. За то, что он делал виражи над летным полем. "Неповиновение пред лицом войск", гласил приговор суда. Я отделался легче. Но что если это ограничение - не просто бумажная чепуха, сочиненная за письменным столом людьми, которые никогда не держали ручку управления в руках? Разве моя авария не доказала правоту тех, кто это писал? Вопросы, вопросы, на которые не ответов. Мой отец никогда не признался бы в этом. Но я знаю, как он гордится тем, что я стал пилотом. И сейчас они собираются отчислить меня как непригодного! Но что еще хуже, я больше не смогу летать.

Семь дней прошли как семь лет. В последний день краснобородый приносит мне кофе. Я качаю головой - я не хочу пить.

"Входит в стоимость номера", уговаривает он.

Но я должен возвращаться в свою часть. Я должен выяснить, что ждет меня дальше.

Возможно мне придется доложить в кабинете старшего сержанта: "Рядовой Удет, отбыл семь дней заключения, за то, что..." Это все так и будет тянутся за мной, как цепь. Но все проходит совсем иначе.

На базе все бегает взад и вперед. Никто не обращает на меня внимания. Утром назначен бомбардировочный рейд на Бельфор, вылет на бомбежку всеми исправными машинами.

Последняя только что поднялась в воздух, все взволнованы и озхвачены масштабом действия.

"Эй, рядовой!", кто-то кричит за моей спиной. Я поворачиваюсь. Это лейтенант. Я никогда не видел его прежде. Должно быть он прибыл несколько дней назад.

"Пилот?", спрашивает он запыхавшись.

Надежда вспыхивает о мне: "Так точно!"

"Ну, парень" - трясет он головой от неожиданности, смешанной с упреком, "Тогда полетим на двухместном, не пропустим этого представления".

Мы бежим к ангарам. Здесь заправляют старый AVG. Лейтенант, преисполненный рвением, покрикивает на механиков. Птичка уже вытащена из клетки, готова к взлету, небольшие бомбы уложены в кабине наблюдателя. Мы залезаем внутрь.

"Готов?"

"Готов!"

"Пошли!"

Несколько прыжком по траве, затем машина медленно поднимается отрывается от земли.

Мы летим.

Этот самолет похож на старую ошипанную ворону. Возможно когда-то это была тренировочная машина. Но никогда прежде я не испытывал чудо полета столь глубокое и сильное, как в эти моменты. Ниже нас горы, прорезанные лощинами, их склоны покрыты темными сосновыми лесами или упавшими листьями. Теплый день, поздняя осень. Ветер мягко поет в тросах и перед нами белые облака тихо вырастают в небе.

Враг уже поднят на ноги атакой других самолетов. Два Фармана и Моран приближаются со стороны Бельфора. Драться бесполезно. У нас на борту нет пулемета, наша старая птица с натугой держит высоту тысяча восемьсот метров.

Наблюдатель оборачивается и указывает на юг. Мы поворачиваем. Сейчас полдень, и мы летим прямо на солнце.

Над Монтре мой "Франц" становится беспокойным. Под нами депо и бараки, последняя возможность куда-то с пользой сбросить наши бомбы. Как хищная птица я кружу над городом. Похоже, мой наблюдатель придумал свой собственный метод сброса бомб. Вместо того, чтобы просто сбросить их за борт, он открывает маленький люк внизу и опускает их туда. Его успех показывает, что он прав. Перегнувшись через борт я вижу как обломки черепицы летят во все стороны. Облако дыма поднимается к небу.

Неожиданно он оборачивается и с ужасом указывает вниз. Постепенно я начинаю понимать. Одна из бомб выскользнула у него из рук и застряла в шасси. Малейшего сотрясения достаточно для того, чтобы она сорвалась. Ее заряд вполне достаточен чтобы разнести и нас и машину на мелкие кусочки.

Очень осторожно я накреняю самолет влево. "Безответственное маневрирование запрещено!" Как бы я хотел, чтобы тот офицер сидел здесь, за штурвалом. Бомба следует движениям самолета, скользит влево и останавливается. Я поворачиваю вправо. Бомба скользит вправо. Наблюдатель исчезает из вида. Он встает на колени на дне своей кабины и высунув ногу через люк отчаянно пытается коснуться оси. Но его нога чересчур коротка, он не может достать до бомбы.

Делая последнее усилие, я резко накреняю машину, первый раз в своей жизни. Старый аппарат вяло реагирует. Вот мы летим почти под прямым углом к земле.

Легкий щелчок, бомба срывается и падает вниз. Я выравниваю самолет и смотрю ей вслед, наблюдая как она взрывается в поле. Вверх вздымается фонтан земли.

Мы разворачиваемся и идем домой. Мой "Франц" все еще болтает ногой в воздухе. Он делает возбужденные жесты. Его нога застряла в узком люке и он не может вытащить ее, пока мы не приземлимся. Перед голубым хребтом появляется укрепление звездообразной формы в Нейбрейзахе, там неподалеку и наш аэродром.

Механики и курсанты бегут к нам. Мы последние, кто возвратился из налета на Бельфор. Мы вылезаем из машины и наблюдатель жмет мне руку. "Рад был познакомиться", говорит он.

К нам через поле бежит ординарец. Я должен немедленно доложить в штаб-квартире. Здесь сидит наш капитан. Тот самый, кто устраивал мне нагоняй перед строем. Я щелкаю каблуками и рапортую: "Рядовой Удет вернулся из-под ареста."

Он долго смотрит на меня. Затем говорит: "Вы переводитесь в Хабсхаймскую группу одноместных истребителей. Ваш самолет прибудет через два дня, затем вы можете лететь!"

Он достает мое дело и листает его, как будто меня здесь нет. Я стою какое-то время, не двигаясь, удивленный и потрясенный. Капитан поднимает глаза вверх: "Вольно!" Я ухожу. Аэродром ярко освещен полуденным солнцем. Время отдыха. Все тихо и мирно, как в воскресенье. Я останавливаюсь и делаю глубокий вдох.

Пилот одноместного истребителя? Пилот-истребитель? Стать тем, кем все мечтают стать? Я не справлюсь, просто не справлюсь.

Приходит писарь и приносит пару котелков с кофе. "Ну, господин истребитель", ухмыляется он и снимает крышку.

Писари всегда все знают, и когда у них перекур, они становятся словоохотливыми. Я протягиваю ему пачку сигарет. С хитрым, косящим в сторону взглядом он берет три штуки,

зажигает одну и начинает. В это утро звонил начальник штаба из Мюльхаузена. Желал знать, вернулся ли рядовой Удет из-под ареста. Все бросились меня искать пока наконец механики не доложили, что я отправился на бомбардировку Бельфора вместе с лейтенантом Хартманом. Об этом сообщили в Мюльхаузен. "Прямо из-под ареста?", спросил штабной офицер? "Прямо из-под ареста!", ответил капитан. Затем Мюльхаузен отключился. Два часа спустя пришел приказ: "Рядовой Удет переводится в Хабсхаймскую группу одноместных истребителей. "Удачи больше чем мозгов", пробурчал капитан, кладя телефонную трубку на место.

Писарь собирает кофейные кружки. "Ну, удачи, Herr Jagdflieger!", говорит он и уносится рысью.

Когда поднимается солнце, долины начинают нагреваться. Летные курсанты, которые относились ко мне раньше как к отверженному, сейчас собираются вокруг меня. Пилот в Хабсхаймской группе одноместных истребителей? Вот сукин сын!" Они торопятся узнать, как я получил Железный Крест. Я рассказываю им о чем-то возвышенном.

Через два дня прибывает моя машина. Быстроходный новый Фоккер. Он выглядит элегантно и колоритно, как настоящий ястреб. Стоящий рядом с ним старый Авиатик I, на котором я летал в 206-й, кажется толстым и неуклюжим как гусь.

Половина всех курсантов собирается к моменту моего взлета. "И помните о главном, ребята: как можно больше тренироваться", кричу я им, махая на прощание рукой. Деревянные колодки из-под колес убраны, рычит мотор Гном, и я взлетаю. Машина кренится вправо. Я всего лишь в каком-то метре от земли. Я дергаю ручку влево, налегая на нее изо всей силы. Но ничего не происходит, абсолютно ничего! Ангар несется мне навстречу с головокружительной скоростью. Треск, какие-то обломки летят у меня над головой... Я врезался в ангар!

Какое-то время я сижу не двигаясь, как будто парализованный шоком. Затем я встаю, колени мои трясутся, и выбираюсь из кабины. Я невредим, но от самолета осталась куча обломков. Курсанты и механики бегут ко мне через летное поле. Все видели мою аварию. Бегут даже со стороны казарм и штаба. Они стоят вокруг меня большим полукругом, с любопытством разглядывая машину. Несколько человек подходят ко мне с вопросами, на которые я не могу ответить. Я стою молча, все во мне трясется. Подходит капитан и долго смотрит на меня. "Итак", говорит он, как будто он ждал что так и произойдет. Я, запинаясь, бормочу что-то: "Ручку заклинило, элероны не работали".

"Мы это расследуем", говорит он и кивает старшему механику.

Я иду в мою комнату и сижу у окна, уставясь в него ничего не видящими глазами, как будто забыв о том, что произошло. Другие из чувства сострадания, оставляют меня в покое.

Вечером становятся известны результаты расследования. Привод пулемета перепутался с тягой дроссельной заслонки и тем самым заблокировал ручку управления. Старший механик приносит фотографию кокпита. Я реабилитирован. Мне дают еще одну машину, но на этот раз это старый Фоккер.

На следующее утро я вылетаю в Хабсхайм. На взлетном поле одни только механики, больше никого. Стоит серое, туманное утро.

Первые бои

В Хабсхаймской группе одноместных истребителей четыре пилота. Лейтенант Пфальцер - наш командир, кроме меня в группе также сержант Вайнгартнер и капрал Глинкерман. Мы молоды и живем как принцы в брошенной вилле богатого американца, который сбежал сразу же после начала войны.

У нас устанавливаются дружеские отношения. С Вайнгартеном мы вскоре становимся друзьями. В этом - весь Вайнгартен. На третий день знакомства все становятся его друзьями. С Глинкерманом труднее общаться, он какой-то немного отстраненный. Вечером он часто

садиться вместе с механиками и курит трубку, уставившись в туман, который поднимается над лугом белыми клубами. Мне кажется, он очень беден и расстраивается из-за этого. Гораздо позднее, когда мне принесли его бумажник, я нашел фотографию девушки, несущейся верхом впереди смеющейся кавалькады. Он никогда не говорит о ней. Кое-кто косится на него когда он расхаживает в небрежно надетых гетрах, из-под которых белеют кальсоны. Но он хороший летчик, один из самых лучших среди тех, кого я знаю.

Наши должностные обязанности просты и необременительны. Раз или два в день мы поднимаемся в воздух, но видим противника редко. Декабрьское небо холодно и ясно, земля ломкая от мороза. Если хорошо закутаться и смазать лицо маслом, полет становится даже приятным. Почти как катанье в санках по облакам.

Вдали от нас, во Фландрии и в Шампани, там, где идут бои и ежедневно с обеих сторон погибают пилоты, говорят об армиях, уснувших в Вогезах. Это обычно говорится с легким пренебрежением, иногда - с оттенком зависти.

Однажды утром тревога звучит очень рано. Это необычно. Наблюдатели на переднем крае докладывают, что что только что над их головами пролетел Кадрон и направляется в нашу сторону. Я залезаю в свой аппарат и взлетаю. Облака висят низко, на высоте всего каких-то четырехсот метров. Я устремляюсь в серую дымку и карабкаюсь все выше и выше.

На высоте двух тысяч метров надо мной дугой изгибается голубое небо, с которого светит странно-бледное декабрьское солнце. Я оглядываюсь вокруг. Далеко на западе, над облачным покрывалом, я вижу маленькую точку, похожую на парусное судно, курсирующее на самом горизонте, - это Кадрон. Я направляюсь прямо к нему, а он продолжает лететь мне навстречу. Мы быстро сближаемся. Я уже могу различить широкий размах крыльев, два мотора, гондолу между крыльями, узкую как туловище хищной птицы. Мы летим на одной высоте, продолжая сближаться. Это против всех правил, потому что Кадрон - самолет-разведчик, а я - на истребителе. Одним нажатием на кнопку, расположенную на ручке управления, я извергну из моего пулемета поток пуль, достаточный, чтобы разнести противника на куски прямо в воздухе. Он должен это знать так же хорошо, как и я. Но все равно он продолжает лететь мне навстречу.

Сейчас он так близок, что я как будто могу дотронуться до головы наблюдателя. В своих квадратных очках он похож на гигантское злое насекомое, которое подбирается ко мне, чтобы отнять жизнь. Наступает момент, когда я должен стрелять. Но я не могу. Как будто ужас леденит кровь в моих венах, парализует руки, мохнатой лапой выметает все мысли из головы. Я остаюсь сидеть на своем месте, лечу дальше, и продолжаю смотреть, как будто заколдованный на Кадрон, который теперь слева от меня. Затем я слышу лай нацеленного на меня пулемета. Удары пуль в мой Фоккер звучат как металлические щелчки. Машина дрожит, сильный удар по щеке, мои очки разбиты. Я инстинктивно касаюсь рукой лица, нащупываю на лице осколки. Моя рука мокрая от крови.

Я ныряю в облака. Я как будто парализован. Как это случилось, как такое возможно?

"Ты просто робок, ты трус", молотом грохочет мотор. И затем только одна мысль: "Слава Богу, никто этого не видел!"

Подо мной несется зеленая трава, верхушки сосен, аэродром. Я приземляюсь. Ко мне подбегают механики. Я не жду их. Я вылезаю из кабины и направляюсь в штаб. Медик удаляет стеклянные осколки с помощью пинцета. Они впились в плоть вокруг моих глаз. Это должно быть больно, но я ничего не чувствую.

Затем я поднимаюсь в свою комнату и бросаюсь на кровать. Я хочу спать, но мои мысли снова и снова возвращаются, не давая расслабиться. Можно ли назвать трусостью, когда у кого-то сдают нервы в первый момент боя? Я хочу успокоить сам себя и говорю: "Нервы - это может со всяким случиться. В следующий раз ты сделаешь все как надо!" Но мое сознание отказывается удовлетвориться этим простым заявлением. Оно ставит меня лицом к лицу с неопровержимым фактом: "Ты проиграл, потому что в момент боя ты думал о себе. Ты боялся за свою жизнь." И в этот момент я понимаю, что такое на самом деле быть солдатом. Быть солдатом означает думать о враге и о победе, и не думать о самом себе. Может быть,

граница между мужчиной и трусом узка, как лезвие меча. Но тот, кто хочет остаться мужчиной среди мужчин, в момент принятия решения должен найти в себе силы задушить в себе животный страх в самом себе. Потому что это животное внутри самого себя хочет продолжать жить любой ценой. И тот, кто поддается ему, навсегда будет потерян для братства людей, кредо которых - честь, долг, вера в родину.

Я подхожу к окну и смотрю вниз. Вайнгартен и Глинкерман прохаживаются взад и вперед перед домом. Возможно им еще ни разу не приходилось сталкиваться с тем, с чем столкнулся я, и я обещаю себе, что с этого момента я буду только солдатом. Я буду стрелять прямо в цель и летать лучше, чем мои товарищи, пока не сотру это пятно с моей чести.

Вместе с Берендом, который приехал со мной в Хабсхайм, я приступаю к работе. Мы делаем силуэтную модель Ньюпора, такую, каким он виден сзади во время атаки. Вечерами, когда полеты прекращаются, я ставлю мишень в центре аэродрома. С трехсот метров я пикирую. С одной сотни метров открываю огонь. Я выхожу из пикирования на очень низкой высоте и вновь карабкаюсь вверх, и игра начинается снова. Беренд считает попадания и сигналил мне. Одно попадание в мотор считается за два, десять попаданий означают кружку пива для него. Часто у меня заедает пулемет - слишком часто. Мы с Берендом работаем допоздна чтобы устранить неисправности.

Затем у меня начинает получаться. В действительности результаты улучшаются неожиданно быстро. Я счастлив, пока не узнаю, что Беренд помогает мне своим карандашом. Из-за дружеских чувств ко мне, божится он, но я думаю, что это из-за любви к пиву.

Поступает приказ экономить боеприпасы, так что я лишаюсь возможности продолжать свои тренировки. Тем не менее, в качестве компенсации мы часто атакуем с воздуха французские траншеи.

Однажды вечером, во время этих полетов над траншеями я немного отстаю от расписания. Я нахожусь к северу, недалеко от Тхауна. Вражеские пулеметные гнезда, укрытые в сосновых лесах, кажутся слишком заманчивыми целями. К тому времени, когда я поворачиваю назад, уже опускается ночь.

На земле горят факелы, указывающие мне дорогу домой. Их красноватое свечение мерцает по всему полю, давая рассеянное освещение. Я выравниваю самолет перед посадкой. Земли почти не видно. При посадке я повреждаю шасси. Во всем остальном машина в порядке, но целый день я не смогу летать.

Я говорю Беренду и другим механикам, что хочу видеть их на поле в полпятого утра. Беренд строит гримасы. На следующий день воскресенье, а когда Беренда заставляют работать по воскресеньям, он внезапно становится религиозным.

Когда мы начинаем работу, на летном поле лежит свинцово-серое утро. Лес стоит вокруг нас темным угрожающим строем. Голые деревянные стены маленьких ангаров отражают бледный свет. У меня какое-то странное чувство, как будто в воздухе что-то необычное. Я не уверен, к хорошему это, или к плохому.

В шесть утра начинают звонить церковные колокола в соседних городках, и их звуки летят к нам над вершинами деревьев. Солнце уже встало, и мы молча продолжаем работать.

Становится жарко. У нас выступает пот, хотя на нас только наши голубые комбинезоны. В двенадцать пополудни мы заканчиваем работу. Беренд и его приятель быстро исчезают: они все еще надеются сесть на поезд, идущий до Мюльхаузена.

Сейчас тихо, все получили увольнительные в город. Я еду в казарму и обедаю. Я сижу за столом один, кофе приносят в сад. Здесь я устраиваюсь в раскладном кресле, курю и смотрю в небо.

В три тридцать ко мне прибегает телефонист с докладом от наших наблюдателей в передовых траншеях: два французских самолета прошли над линией фронта и быстро приближаются к Альткирху.

Я прыгаю в автомобиль и мчусь к аэродрому. Инстинкт говорит мне с уверенностью: вот оно! Машина готова к взлету, рядом с ней стоят механики. У телефониста хватило ума поднять на ноги всех, кто еще находится на базе. Я карабкаюсь в кабину и поднимаюсь в воздух.

Я лечу к линии фронта. Я должен подняться выше них, чтобы иметь преимущество в бою. Высота два километра восемьсот метров... Я лечу на запад по направлению к Альткирху. Я вижу их, когда прохожу над самым Альткирхом. Я считаю: один... два.. три... четыре... Я протираю летные очки... невозможно, этого просто не может быть! Должно быть эти черные точки - частицы масла, которые распыляет вокруг себя мотор. Но нет, точки остаются, они становятся все больше. Я насчитал их семь, семь а одним рядом, и за ними - еще одна волна, снова пять и снова... они подходят ближе, их силуэты хорошо различимы на желтоватом предвечернем небе. Всего их двадцать три, бомбардировщики Кадрон и один - Фарман-Буазен. Они идут в беспорядке, гудя как разгневанные шершни. Высоко над ними летит королева роя, могучий Фарман. Я тяну ручку на себя. Мы быстро сближаемся. Они непременно должны заметить меня, но ведут себя так, как будто меня вообще не существует. Они не поднимаются вверх ни на сантиметр и держат свой курс на северо-восток по направлению к Мюльхаузену. Я оглядываюсь вокруг. Голубая раковина неба за мной пуста. Никто из моих товарищей из Хабсхайма не поднялся в воздух. Я один.

Я настигаю их недалеко от Бурнхаупта. В трехстах метрах над ними я делаю поворот и ложусь на их курс к Мюльхаузену. Я перегибаюсь за борт, чтобы посмотреть на строй из двадцати трех машин, в центре - гигантский Фарман. В просветах между их крыльями я вижу землю, голубые шиферные крыши, красную черепицу. Вот оно! Мое сердце бьется у самого горла. Мои руки, ухватившие ручку управления, влажны от пота. Один против двадцати трех. Мой Фоккер летит над строем как гончая, преследующая медведя. Преследует, - но не атакует. В этот момент я знаю: если вторая попытка не закончится боем, тогда - прощай истребители. У меня не будет другого выхода кроме как просить о переводе из нашей группы.

Мы над Дарнбахом, совсем близко от Мюльхаузена. Внизу люди, цветные пятнышки в коричнево-зеленом ландшафте. Они бегают взад и вперед, жестикулируют и указывают вверх.

Затем я преодолеваю барьер. С этого мгновения я вижу только одно: этот большой Фарман в центре строя. Я опускаю нос вниз, набираю скорость и пикирую на полном газу. Вражеский самолет вырастает в размерах. Наблюдатель встает. Я вижу его круглый кожаный шлем. Он хватается за пулемет и направляет его на меня.

Когда до противника остается восемьдесят метров я хочу открыть огонь, но я должен быть абсолютно уверен. Ближе, ближе, сорок метров, тридцать, огонь! Вот он закачался из стороны в сторону. Голубое пламя вырывается из выхлопной трубы, он кренится, пошел белый дым, попадание в топливный бак!

Клак... клак... клак... - с металлическим звуком пули ударяются в мою машину как раз перед кабиной. Я оборачиваюсь и смотрю назад. Два Кадрона поливают меня пулеметными очередями. Я остаюсь спокойным. Все должно быть сделано так, как будто это тренировка на аэродроме. Ручка вперед, и я пикирую. В трехстах метрах ниже него я выравниваю машину. Фюзеляж Фармана проносится мимо меня как гигантский факел, волоча за собой темное облако, из него бьют яркие языки пламени. Вниз падает наблюдатель, его руки и ноги растопырены, как у лягушки.

В этот момент я не думаю о нем, как о человеке. Я чувствую только одно - Победа, победа, победа! Железные тиски в моей груди лопнули и кровь течет в моем теле мощным, свободным потоком.

Воздух надо мной наполнен сейчас оглушающим органом моторов. Время от времени слышится торопливый лай пулеметов. Все машины сейчас поднялись в воздух с Хабсхаймского аэродрома и бросились на врага. Не выдержав этого напора, французская эскадрилья распадается на части и начинаются индивидуальные схватки. Куда ни посмотри, машины кружатся в воздушном бою.

Одиночный Кадрон поспешно пытается скрыться на запад. Никто его не преследует. Я иду за ним, дав полный газ. Опьянение от первого боя уже прошло. Уничтожение врага стало тактической проблемой и ничем больше.

Я открываю огонь с расстояния 150 метров и вновь останавливаюсь. Слишком далеко, еще слишком далеко. С расстояния восемьдесят метров я выпускаю еще одну очередь. На этот раз я ясно вижу результат. Кадрон дрожит, правый двигатель выпускает маленькое облако дыма, пропеллер замедляет свой ход и останавливается. Пилот оборачивается и смотрит на меня. Через секунду самолет входит в крутое пикирование.

Я следую за ним. Он летит только на одном моторе, никак не может оторваться от меня. Я сейчас так близко к нему, что ощущаю поток воздуха от его пропеллера.

Новая очередь - пилот пригибается к штурвалу. Затем заедает пулемет: во время почти отвесного пикирования перекосило патроны в пулеметной ленте. Я бью по пулемету обоими руками. Никакого толка, пулемет молчит.

Я не могу стрелять, у меня нет другого выбора кроме как оставить в покое своего оппонента и вернуться домой. В пять двадцать пять я приземляюсь на аэродроме в Хабсхайме. Я взлетел в четыре шестнадцать. Все заняло у меня чуть больше часа.

В середине поля стоит капитан Макентхун, командир Хабсхаймской базы. Он стоит, расставив ноги, и наблюдает за боем в бинокль. Я подхожу к нему: "Сержант Удет вернулся с боевого задания. Сбит двухместный Фарман". Он опускает бинокль и смотрит на меня, его лицо не отражает никаких эмоций, как будто заморожено. "Только что на острове Наполеона разбился наш большой самолет", говорит он.

Я знаю, что пилотом на нем был лейтенант Курт, близкий друг Макентхуна. Я отдаю честь и иду к ангарам.

Только вечером мы смогли разобраться в том, что произошло. Французская атака, первая крупномасштабная воздушная атака на Германию, отбита. Пять вражеских машин было сбито на нашей стороне фронта. Из девяти офицеров французского подразделения, взлетевшего в полдень, вернулось только трое.

Из наших летчиков не вернулось на базу три человека: Курт, Хопфгартен, и Валлат, экипаж АЕГ из 48-й эскадрильи. Они атаковали Фарман, были протаранены во время боя другим самолетом, обломки упали прямо на остров Наполеона. Это произошло 18 марта 1916 года.

В нашей вилле в Хабсхайме окна были освещены всю ночь. Сегодня погибли наши, но и мы не просто так покатались по воздуху.

Пфальцер, Вайнгартен, Глинкерман и я, каждый из нас сбил по самолету.

Мы молоды, и мы празднуем победу.

Смерть летит быстрее

В полдень приходит приказ: всей эскадрильи сниматься с места! Вечером мы уже собрались и ждем на железнодорожной станции в Мюльхаузене. На платформе полно людей. В бледном свете ламп, которые затенены на случай воздушного наблюдения, мы похожи на призраков. В толпе много женщин, большинство из них плачет. Мы были расквартированы недалеко от Мюльхаузена, где проводили все свое свободное время, в течении трех лет. У нас со всеми хорошие отношения и мы уже и сами стали частью города, как будто в нем и родились.

Я попадаю в одно купе с Эссером. Его невеста приехала из Фрейбурга чтобы повидаться. Это красивая девушка с гордым, непроницаемым лицом. Она не плачет. Он перегнулся через окно купе и говорит с ней. "Не забывай одевать перчатки и теплую одежду", говорит она. Когда она говорит, уголки ее рта дрожат. Всем ясно, что на самом деле она хочет сказать совсем другое.

Затем поезд катится в ночь, мест о назначения неизвестно. Мы чувствуем, что тихие деньки подошли к концу и нас бросят в какое-то горячее место на фронте. Это чувство наполняет нас напряжением, немного смешанным с дурными предчувствиями. Сможем ли мы принять вызов великих воздушных битв?

Три дня и три ночи нас переводят то на один путь, то на другой, как будто мы оказались на гигантской сортировочной станции. Мимо проходят составы с боеприпасами и госпитальные

поезда с грузом страданий за покрашенными белой краской окнами. На третий день, с наступлением ночи мы разгружаемся. Мы смотрим по сторонам и затем друг на друга. "Шампань", бормочет наш командир.

Идет мелкий, холодный дождик, он укутывает плоские равнины в серую мантию заброшенности и уныния. Несколько стройных тополей вдоль шоссе мерзнут на мартовском ветру. Мы расквартированы в небольшом городке Ле-Сельве. Мы с Эссером остаемся вместе. Наша комната совсем аскетична, но Эссеру вскоре приходит в голову решение. Он и его ординарец реквизируют из заброшенного поместья красные вельветовые занавеси. Пара шелковых пижам переделана в абажуры. И наша комната приобретает черты знойного комфорта.

Напротив нас размещена французская элитная эскадрилья. Полагают даже, что среди них Нунжессер и сам Гийнемер, ас из асов, Рихтгофен противника. Они летают на одноместных Спадах с 180-сильным мотором Испано. Быстрые, проворные машины, превосходящие наших Альбатросов, особенно в пикировании, когда плоскости наших крыльев начинают вибрировать так сильно, что мы боимся как бы они не оторвались в воздухе. Более прочные Спады выдерживают эти перегрузки гораздо лучше. Противовоздушная оборона организована намного серьезнее по сравнению с Вогезами. Я замечаю это во время самого первого вылета. Осколок зенитного снаряда расщепляет переднюю стойку и я с трудом сажаю самолет на своем аэродроме.

Почти все воздушные бои не приносят результатов и наша мораль падает день ото дня. Однажды вечером, мы с Эссером сидим в нашей комнате. Его сообразительный ординарец притащил откуда-то громофон. Мы набиваем в его рупор тряпки чтобы приглушить звук и теперь он звучит так же меланхолично, как песня деревенской девушки на заднем дворе. Эссер сидит и пишет письмо своей невесте, он делает это каждый день, строя планы на будущее.

16 апреля неаша эскадрилья наконец добивается своего первого успеха. Глинкерман сбивает Кадрон, Эссер - Ньюпор. Другие пилоты наблюдают за тем, как Эссер преследует другой вражеский самолет и исчезает на западе. Больше о нем ничего не слышно и я провожу ночь один в комнате с красными вельветовыми занавесями.

На следующий день нам звонят из траншей. Наш командир едет туда и к вечеру возвращается. В его автомобиле лежит мешок, такой маленький, что там может поместиться только ребенок, это все, что осталось от Эссера.

Командир пишет его родителям, он просит, чтобы я написал его невесте во Фрайбург. Мне трудно писать, это самое трудное письмо, которое я писал когда-либо в своей жизни, но вскоре мне предстоит написать много таких писем.

На следующее утро после похорон Эссера, ко мне подходит Пуц. Его круглое, курносое лицо полно симпатии.

"Знаешь, Коротышка", говорит он, "Это так ужасно, жить одному в комнате с пустой кроватью. Если хочешь, я могу переехать к тебе".

Мыжимаем руки и вечером ординарец меняет карточки на двери. Карточка "Летenant Хейниш" висит теперь там, там где раньше была карточка "Лейтенант Эссер".

24 апреля я одерживаю свою первую победу на этом участке фронта. Над Шавиньоном я встречаюсь с Ньюпором и зажигаю его после короткого боя. Я вижу как он взрывается на земле, среди воронок от снарядов. Это моя пятая подтвержденная победа, потому что после моего боя над Мюльхаузенем я сбил еще три самолета, когда мы базировались в Хабсхайме. Через два дня, 26 апреля, - мой день рождения. Я пригласил всех своих друзей в красный салон. С помощью Беренда испечены три фунтовых торта. У нас есть какао и стол, покрытый белой скатертью, стоит посредине комнаты, как будто на детском празднике.

Мы сидим вокруг него и ожидаем возвращения нашего командира, первого лейтенанта Рейнхольда. Два часа назад, вместе с двумя другими летчиками, он вылетел на патрулирование. В два часа двое других возвращаются. Они говорят, что потеряли его из виду во время воздушного боя, когда он преследовал своего оппонента, пытавшегося

скрыться в облаках. Они смущены и растроены. Конечно, они говорят правду. Но тень сомнения все равно остается, потому что в воздухе группа должна держаться вместе, как кисть и плечо, как голова и тело. Каждый ответствен за жизнь своего ведущего как за свою собственную. Это делается для того, чтобы ведущий чувствовал прикрытие сзади и смог бы сконцентрироваться на атаке.

В три тридцать я говорю: "Давайте начнем. Поскольку он опоздал, ему придется есть одному".

Все начинают есть. Хотя все голодны и у торта отличный вкус, командиру оставлены два куска. Рейнхольд как бы среди нас. Никто не говорит о нем, но наши мысли постоянно возвращаются к нему. Это заметно и по разговорам, быстро затихающим и беспредметным.

В пять звонит телефон. Глинкерман, который сидит ближе всех, и подает мне знак, передавая трубку. Но другие уже заметили это и в комнате стоит гробовая тишина. На том конце линии я слышу скучающий голос: "Это у вас пилот пропал?"

"Так точно", отвечаю я поспешно.

На том конце - тишина. Затем приглушенный разговор - я могу разобрать лишь отдельные слова - "Как он выглядел, тупица?"... Снова слышится скучный голос в трубке: "Что он еще носил, кроме летного шлема?"

Я вспоминаю, что Рейнхольд всегда носил пару наушников.

"Да, это он", кричу я, "Лейтенант Рейнхольд у вас?"

"Мы не нашли никаких документов", и тихо: "Какой у него был полковой номер, Отто?"

Затем, громче, обращаясь ко мне: "На его погонах номер 135".

"Мертв?"

"Да!"

"Где вы находитесь, мы сейчас приедем".

"Неподалеку от Лиерваля. Вы издалека увидите его самолет. Я вешаю трубку и смотрю на остальных. Все бледны и серьезны. "Пошли!", говорю я. Мы бросаемся к автомобилю и мчимся по испещренному снарядами воронками шоссе по направлению к Лиервалю.

Машина Рейнхольда лежит в самом центре поля. Она почти не повреждена и выглядит так, как будто готова к взлету в любую секунду. Мы бежим к самолету через зеленые сеянцы.

Пехотинец рапортует. Рейнхольда нашли сидящим за ручкой управления, права рука - на кнопке пулемета. Его лицо было заморожено напряжением последнего боя, левый глаз прищурен, правый широко открыт, как будто бы он продолжал целиться в невидимого врага. И в этом положении его настигла смерть. Поля ударила сзади в голову, выйдя спереди между бровями. Входные и выходные отверстия очень маленькие. Мы забираем мертвеца и увозим его с собой. "И я хотел бы так умереть", говорит мне Глинкерман.

Через несколько дней прибывает наш новый командир - лейтенант Гонтерман. У него отличная репутация. Он сбил двенадцать самолетов и шесть аэростатов.

Его тактика совершенно нова и всех нас удивляет. Прежде чем открыть огонь, он уже побеждает врага тем, что выбирает самую удобную позицию. И когда он наконец начинает стрелять, ему требуется самое большее десяток патронов чтобы разнести на куски вражескую машину, поскольку к тому времени он обычно приближается к ней на расстояние двадцати метров.

От него веет спокойствием. Его круглое, как у фермера, лицо, не выражает никаких эмоций. Но одно в нем меня смущает: его раздражает каждое попадание в машину, которое он может найти после приземления. В этом он видит доказательство своих недостатков как летчика. Если применяется его система, правильно проведенный воздушный бой не позволяет его оппоненту сделать ни одного прицельного выстрела. В этом отношении он полностью противоположен Рихтгофену. Красный Барон принимает рапорт своих механиков о попаданиях в аэроплан с улыбкой пожимая плечами.

Почти одновременно с прибытием Гонтермана эскадрилья перебазирована из Ле Сельве обратно в Бонкур. Это старый французский замок, окруженный парком. Владелец, старый

провинциальный дворянин, живет здесь со своей женой и двумя дочерьми. Они переселились в отдаленную часть дома и предоставили в наше распоряжение самые роскошные комнаты. Скорее всего они ненавидят нас, но их поведение вполне корректно. Если мы встречаем их в коридоре или парке, они приветствуют нас с ледяной любезностью. Однажды все изменяется. За обедом Гонтерман рассказывает нам, что он только что встретил в коридоре хозяина. Старик плакал. Его дочери должны идти в деревню и работать в поле. Комендант города, рядовой первого класса изводит и раздражает их как только может. Скорее всего он пытается заигрывать с младшей, худой и еще не успевшей подрасти девушкой пятнадцати лет. Гонтерман обещает разобраться с этим делом. Его лицо краснеет от гнева когда он говорит об этом нам.

После обеда этот рядовой приезжает в замок на толстом жеребце. Мы поставили кофейный столик под деревьями в саду. Окна в комнату Гонтермана открыты и мы можем слышать каждое его слово.

"На вас поступила жалоба," начинает Гонтерман. Он говорит тихо, но громче обычного.

"Это моя привилегия, герр лейтенант!". Рядовой говорит доверительно и с уверенностью в своей правоте.

"Это как?"

"Когда эти девки не слушаются, они должны быть наказаны!"

Голос Гонтермана становится громче: "Мне сказали, что вы также приставали к одной из женщин."

Длинная пауза, затем снова голос Гонтермана: "Например, к молодой графине которая живет здесь, в замке."

"Я не обязан отчитываться перед вами в этих делах, герр лейтенант. Я комендант этого города!"

Голос Гонтермана становится таким громким, что мы прямо подпрыгиваем.

"Ты - кто? Ты - грязная свинья! Животное! Персонаж, которого нужно поставить к стенке без всякого промедления! Мы сражаемся честным оружием против честного врага, а такой негодяй как ты занимается своими делишками и все пачкает!"

Это похоже на средневековую экзекуцию. В течении целых пяти минут Гонтерман бьет его, бьет своими словами. Но это не смягчает наказания.

"Я отдам тебя под военно-полевой суд," кричит он в конце: "Пошел отсюда!"

Рядовой проходит мимо нас. Его лицо бледно и покрыто потом. В расстройстве он забывает отдать честь и даже сесть на лошадь. Затем приходит Гонтерман. Он уже остыл.

Мы вылетаем на вечернее патрулирование. Гонтерман сбивает Ньюпор, я - Спад. Это моя шестая победа.

На следующее утро Баренд, который живет в деревне с другими механиками рассказывает мне, что коменданта увела фельджандармерия. Гонтерман пользуется поддержкой гораздо большей, чем позволяет предположить его ранг. Там, в штабах, ему знают цену. В течении двух недель, которые Гонтерман провел в нашей эскадрильи, он сбил восемь самолетов противника. Его награждают высшим орденом за храбрость, Pour le Merite, и месячным отпуском. Перед своим отъездом он назначает меня исполняющим обязанности командира эскадрильи.

Мы летаем каждый день как только хоть в какой-нибудь степени позволяет погода. Чаще всего - три раза в день: утром, в полдень и вечером. Чаще всего мы патрулируем над нашими позициями и воздушные бои случаются не часто. Французы летают осторожно, но тактически действуют очень грамотно. У нас всех чувство, что у врага превосходство в этой области, и не только благодаря лучшим самолетам. Двадцатимесячный опыт на главном фронте и закалка, полученная в сотнях воздушных боев дают преимущество, с которым не так просто справиться.

25 мая мы вылетаем на патрулирование - как обычно, в клиновидном строю. Я впереди, за мной братья Вендель, затем Пуц и Глинкерман. Мы на высоте примерно двух тысячи метров.

Небо ясное, как будто его только что подмели. Намного выше нас несколько перистых облаков. Ярко светит солнце. Полдень, врага нигде не видно. Время от времени я оборачиваюсь и киваю остальным. Они летят за мной - братья Вендель, Пуц и Глинкерман, - все так, как и должно быть.

Не знаю, есть ли на свете такая вещь как шестое чувство. Но неожиданно у меня появляется уверенность, что нам угрожает какая-то опасность. Я полуоборачиваюсь и в этот момент вижу, как, совсем близко от меня, не дальше чем в двадцати метрах самолет Пуца окутывается огнем и дымом. Но Пуц сидит прямо в центре этого ада, голова повернута ко мне. Вот он медленно поднимает правую руку к своему шлему. Может быть это последняя конвульсия, но это выглядит так, как будто он отдает мне салют - в последний раз.

"Пуц, " кричу я, "Пуц!"

Затем его машина разваливается в воздухе. Фюзеляж ныряет вертикально вниз как огненный метеор, за ним следуют оторвавшиеся крылья. Я ошеломлен и гляжу через борт вслед падающим обломкам. Французские эмблемы на крыльях сверкают как два злобный глаза. В тот же самый момент у меня появляется чувство, что это может быть только сам Гийнемер! Я иду вниз, я должен его достать! Но крылья Альбатроса не рассчитаны на такие перегрузки. Они начинают трястись все больше и больше. и я боюсь, что машина развалится в воздухе. Я выхожу из преследования и возвращаюсь домой. Все остальные уже приземлились.

Они стоят группой на летном поле, подавленно говорят друг с другом. Глинкерман стоит в стороне от остальных. Он углублен в свои мысли, что-то чертит на земле своей тростью. Его собака прижалась к коленям. Но его мысли так далеко, что он ее не замечает.

Когда я подхожу к нему, он поднимает голову и смотри на меня: "Прости меня, Коротышка, но я правда не мог помешать этому. Он зашел на нас со стороны солнца и когда я сообразил, что происходит, все уже было кончено."

На его лице - боль. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять, что он будет теперь мучить себя неделями. Потому что он летел вслед за Пуцем и обязан был защищать его хвост от атаки.

Но я также знаю и то, какой Глинкерле товарищ. Когда я летаю с ним, я чувствую себя в безопасности, потому что он скорее даст разорвать себя на куски, чем даже на секунду оставит без прикрытия мою спину.

"Оставь это, Глинкерле", говорю я ему и похлопываю его по спине, "никто не виноват, или мы все в равной степени виновны".

Затем я иду к себе и пишу рапорт для начальства, затем письмо родителям Хейниша.

Смерть летит быстрее...

Ординарец поднимает меня на ноги, прерывая мой послеобеденный сон. Звонок из Мортьера: Здесь только что разбился самолет нашей эскадрильи. Пилот, сержант Мюллер, мертв.

Я еду. Меня ждут несколько старых солдат, с волосами белыми, как мел Шампани. Они положили его в амбаре и ведут меня к нему. Его лицо тихо и мирно. Возможно, он умер легко и быстро. Я выслушиваю рапорт о катастрофе и возвращаюсь в Бонкур.

На летном поле тишина. Все вылетели на полеобеденное патрулирование. К вечеру они возвращаются по двое и по трое. Глинкермана нет. Двое летевших с ним потеряли его из виду. Он исчез в облаках, направляясь на запад. Та же самая песня, та же горькая песня...

На аэродроме стоит его трость, воткнутая в землю. На ней - фуражка. Это - амулет Глинкермана. Когда он поднимается в воздух, то оставляет ее здесь, когда возвращается, забирает ее. Большая серая овчарка кружит рядом с тростью. Когда я иду через поле, она бежит за мной. Обычно она никогда этого не делает. Она предана Глинкерману и может укусить любого, кто подойдет к нему близко. Но сейчас она пихает свою влажную, холодную морду мне в руки.

Мне трудно сохранять самообладание. Но Гонтерман оставил меня командовать и никто не увидит моей слабости. Я прошу ординарца обзвонить все части и спросить, не приземлялся ли на их участке фронта наш самолет.

"Все части?", переспрашивает он.

"Все, конечно все!", ору я на него.

"Как только что-то появится, дайте мне знать. Я буду в своей комнате." Я пытаюсь держать себя в руках и говорю это так тихо и спокойно как только могу.

Медленно приходит ночь. Я сижу у открытого окна и смотрю в сгущающуюся темноту.

Узкий серебряный серп луны медленно карабкается вверх по массивным вершинам деревьев в парке. Невыносимо громко стрекочут сверчки. Довольно влажно и ночью, наверное, будет дождь. Собака Глинкермана со мной в комнате. Она не спит, ходит по комнате туда и сюда. Иногда скулит. Глинкерман, Глинкерле! Восемь дней назад он сбил Спад, севший мне на хвост, на следующий день я отогнал преследовавший его вражеский самолет. Он обязан вернуться, он не может оставить меня одного.

В десять часов орденарец вбегает в мою комнату: "Герр лейтенант, скорее идите к телефону, звонят с пехотного поста неподалеку от Огрувеля!"

Глубокий, мрачный голос. Да, рядом с ними приземлился немецкий самолет. У пилота черные волосы, разделенные пробором пополам. Больше никаких примет нет. Все сгорело дотла. Пес лает так громко, что я должен выгнать его из комнаты. Я зажигаю настольную лампу и прошу ординарца Глинкермана принести его вещи. Потертый бумажник. В нем немного денег. Фотография девушки, незаконченное письмо. "Дорогая!", начинается оно, но он уже никогда не будет дописано.

На следующее утро во двор въезжает повозка. В ней - деревянный ящик. Мы снимаем его и ставит в палатку Глинкерле. Мы кладем на ящик его фуражку и дубовую трость и закрываем дерево цветами и зелеными ветками.

Через два дня мы хороним Глинкермана. Утром последнего дня ему приходит повышение в чин лейтенанта. Он был бы очень счастлив, если бы дожил. Это приказ я передаю его родителям через человека, который едет в Мюльхаузен на побывку. С собой он возьмет и его собаку. Пес царапает землю когтями и его приходится силой волочить от палатки Глинкермана. Когда машина отходит, она все еще воет, совсем как человек.

4 июля в бою погибает сержант Эйхенауэр. В тот же день я пишу Грассхоффу, старому приятелю по Хабсхайму: "Я хочу попасть на другой фронт, я хотел бы отправиться туда с тобой. Я последний, кто остался в живых из Ясты 15, последний из тех, кто когда-то покинул Мюльхаузен и отправился в Шампань.

В Ясте 15, выросшей из старой Хабсхаймской группы, сейчас осталось только 4 самолета, три сержанта и я сам - их командир. Почти всегда мы летаем поодиночке. Только там мы можем выполнить наши задания.

На фронте постоянно что-то происходит. Говорят, что та сторона готовит наступление. Воздушные шары поднимаются каждый день, висят на длинных тросах в летнем небе как гирлянды толстобрюхих облаков. Было бы неплохо сбить один из них. Это послужило бы хорошим предостережением всем остальным.

Я взлетаю рано утром, так, чтобы солнце светило мне в спину когда я буду заходить в атаку на воздушный шар. Я лечу выше, чем обычно. Альтиметр показывает пять тысяч метров. Воздух прозрачный и холодный. Мир подо мной кажется гигантским аквариумом. Над Лиервалем, где погиб Рейнольд, летает вражеский самолет с винтом сзади. Он прокладывает себе путь в воздухе как маленькая водомерка.

С запада быстро приближается маленькая точка. Крошечная и черная поначалу, она быстро растет по мере того, как приближается ко мне. Это Спад, вражеский истребитель. Одиночка, такой же, как и я, высматривающий добычу. Я усаживаюсь в пилотском кресле поудобнее. Будет бой.

Мы стремимся навстречу друг другу, находясь на одной и той же высоте, и расходимся, проходя на волосок друг от друга. Мы делаем левый поворот. Тот, другой самолет отсвечивает на солнце коричневым. Затем начинает кружиться. Снизу наверное кажется, что две большие хищные птицы ухаживают друг за другом. Но это смертельная игра. Тот, кому

противник зайдет в хвост, проиграет, потому что у одноместный истребитель с неподвижно закрепленным пулеметом может стрелять только прямо вперед. Его хвост нельзя защитить. Иногда мы проходим друг мимо друга так близко, что я могу ясно увидеть узкое, бледное лицо под кожаным шлемом. На фюзеляже между крыльями черными буквами написано какое-то слово. Когда он проходит мимо меня в пятый раз, так близко, что струя от винта мотает меня взад и вперед, я могу разобрать: "Vieux Charles"- Старик Шарль. Это - знак Гийнемера.

Да, только он один летает так на всем нашем фронте. Гийнемер, который сбил уже тридцать немецких самолетов. Гийнемер, который всегда охотиться один, как все опасные хищники, внезапно нападает от солнца, сбивает в секунды своего оппонента и исчезает. Так он сбил Пуца. Я знаю, это будет поединок, где у жизни и смерти цена одна.

Я делаю полупетлю, чтобы зайти на него сверху. Он тут же понимает это, и сам начинает петлю. Я пытаюсь поворачивать, но Гийнемер следует за мной. Выйдя из поворота, он сможет мгновенно поймать меня в прицел. Металлический град с грохотом сыпется на мое правое крыло, и звенит, ударяя в стойку.

Я пробую все, что могу, самые крутые виражи и почти отвесные скольжения, но он молниеносно предугадывает все мои движения и немедленно реагирует. Его самолет лучше. Он может делать больше, чем я, но я продолжаю бой. Я нажимаю кнопку на ручке... пулемет молчит... заклинило!

Левой рукой я держу ручку, правой пытаюсь загнать патрон в патронник. Ничего не получается - патронник никак не очистит. На мгновение я думаю о том, чтобы спикировать и выйти из боя. Но с таким противником это бесполезно. Он тут же окажется у меня на хвосте и прикончит.

Мы продолжаем виражи. Отличный пилотаж, если бы ставки не были столь высоки. У меня еще не было столь проворного оппонента. На время я забываю, что передо мной Гийнемер, мой враг. Мне кажется, это я, с моим товарищем, участвую в спарринг-бою над нашим аэродромом. Но иллюзия длится всего лишь секунды.

Восемь минут мы кружим друг за другом. Самые длинные восемь минут в моей жизни. Вот сейчас, повернувшись на спину, он проходит надо мной. На секунду я бросаю ручку и колочу по коробке патронника обоими руками. Примитивный прием, но иногда он помогает. Гийнемер видит все это сверху, он должен это видеть, и сейчас он знает, что со мной случилось. Он знает, что я беззащитен.

Вновь он проходит надо мной. И затем случается то, что случилось: он медленно машет мне рукой, и исчезает на западе, летя по направлению к своим траншеям.

Я иду домой. Я ошеломлен.

Некоторые полагают, что пулемет Гийнемера тоже был неисправен. Другие считают, что я должен был протаранить его в отчаянии. Но я никому из них не верю. Я и по сей день считаю, что рыцарские традиции прошлого не погибли. Поэтому я кладу запоздалый венок на его безымянную могилу.

19 июня из отпуска возвращается Гонтерман. Его губы сжимаются, когда я говорю ему о судьбе, которая постигла нашу эскадрилью в последние недели. "Ну что ж, Удет, тогда мы остались вдвоем".

Я уже отправил письмо Грассхоффу, но в этот момент я не могу заставить себя поднять эту тему. Я откладываю ее до вечера.

После обеда Гонтерман уже слетал на вылазку. Он сбил своего противника и его машина получила двенадцать пробоин. Я нахожусь на летном поле, когда он приземляется, и мы вместе отправляемся в замок.

Первый раз я вижу его сразу же после полета. Его лицо бледно и мокро от пота.

Непреклонное хладнокровие, которым всегда от него веет, исчезло. Я вижу перед собой человека, нервы которого на пределе. Это не принижает его в моих глазах, а лишь придвигает ближе к нему. Я восхищаюсь его самодисциплиной которая позволяет ему в другое время

удерживать себя в руках.

Когда мы идем вместе, он ругает себя. Пробоины в самолете его расстроили. Я пытаюсь успокоить его.

"Тот, кто стреляет, должен ожидать, что и в него самого будут стрелять", говорю я.

Мы идем по устланной гравием дорожке в парке по направлению к дому. Здесь стоит маленький садовый столик. Гонтерман останавливается, зачерпывает пригоршню гравия и кладет на стол листок. Он медленно сыпет гравий на листок. Каждый раз, когда один из камешков ударяется о поверхность стола, тот издает звенящий звук, как будто в него попала пуля.

"Видишь, Удет, так это происходит", говорит он, занимаясь этим, "пули падают из рук Господа Бога" - он указывает на листок, они подходят все ближе ближе. Рано или поздно, они поразят нас, можешь быть уверен".

Быстрым движением руки он смахивает все со стола. Я смотрю на него искоса. Его нервы изношены еще больше, чем мне казалось. Я чувствую себя странно в его присутствии, и мое желание уйти становится сильнее. Сам воздух Бонкура ложится тяжким камнем на грудь, в ней столько печальных воспоминаний.

"Я хотел бы просить вас о моем переводе в Ясту 37", говорю я.

Гонтерман встрепенулся. "Хочешь меня оставить?" В его вопросе - упрек. Он он тут же берет себя в руки., его лицо замерзает и он говорит ледяным голосом: "Я не собираюсь препятствовать вам, лейтенант Удет".

Я чувствую совершенно точно, о чем он думает. "Там мои старые друзья по Хабсхайму", говорю я, "последние, кто остался от нашего старого отряда. Конечно, прежде чем уйти, я помогу освоится новому пополнению.

Гонтерман мгновение молчит. Затем он протягивает мне руку: "Очень жаль, что вы не хотите остаться со мной, Удет, но я могу вас понять".

Через три месяца Гонтерман погибает. Как и многие из лучших, он погиб не по своей вине. У его триплана отломилось крыло, прямо над нашим аэродромом, и он разбился. Сутки спустя он умер, не приходя в сознание. Это была хорошая смерть.

Рихтгофен

Последние несколько недель я командую Ястой 37. Мы базируемся в Виндгене, маленьком городке в центре фландрских низменностей. Местность сложная, пересечена насыпями и каналами с водой. Здесь при любой вынужденной посадке можно разбиться вдребезги. Когда поднимаешься достаточно высоко, можно увидеть Остенде и море. Серое-зеленое, бесконечное, оно простирается за горизонт.

Многие были удивлены решением Грассхоффа оставить меня командовать, когда его самого перевели в Македонию. Здесь есть летчики постарше меня и с более высоким рангом. Но осенью, когда я сбил три английских самолета над Ленсом, он пообещал эту должность мне. Это был удивительный успех в стиле Гийнемера. Я зашел на них со стороны солнца и атаковал поледнего слева, сбив его короткой очередью из пяти выстрелов. Затем - следующего, и последним - их ведущего. Двое остальных были столь поражены, что не сделали ни одного выстрела в ответ. Вся схватка продолжалась не более двадцати секунд, как это было тогда, во время атаки Гийнемера. На войне нужно учить ремесло пилота-истребителя или погибать. Третьего выхода нет.

Когда я приземлился, Грассхофф уже знал об этом. "Когда я меня переведут отсюда, когда-нибудь, Коротышка, ты унаследуешь эскадрилью", сказал он. Так я стал командиром Яста 37. Перед нами стоят англичане. Молдые, бойкие ребята, они не медлят, открывая огонь, и не перестают стрелять пока не добиваются своего. Но мы деремся с ними на равных. Исчезло погружающее в депрессию чувство неполноценности, которое приводило нас в уныние в Бонкуре. У эскадрильи длинная вереница побед и у меня у самого девятнадцать

подтвержденных.

Зима вступает в свои права и воздушные бои затихают. Часто идет снег и дождь. Даже когда сухо, тяжелые облака дрейфуют так низко, что приходится отменять все полеты. Мы сидим в наших комнатах. Иногда, когда я стою у окна, то вижу ремесленников-кустарей, несущих свои товары. Сгорбленные, одетые в лохмотья, они протаптывают себе путь по снегу.

Сын хозяина вступил в Бельгийский королевский военно-воздушный корпус, воюющий против нас. Но эти люди не пытаются меня смутить. "Он выполняет свой долг, а я - свой", вот их точка зрения, резонная и ясная.

Весной 1918 года беспокойно на всем немецком фронте, от Фландрии и до Вогез. Конечно, не только весна в этом виновата. Везде солдаты и офицеры говорят о неизбежном большом наступлении. Но никто не знает наверняка. 15 марта эскадрильи приказано немедленно собираться в путь. Место назначения неизвестно. Мы все знаем, что это означает начало наступления.

Мы ставим наши палатки по дороге в Ле-Като. Идет дождь, который медленно превращает все - деревья, дома, людей, в однообразную серую кашу. Я уже надел свою кожаную куртку и помогаю механикам прикреплять края палаток к земле.

Подъезжает машина. По этой дороге ездит много машин и мы уже перестали обарщать на них внимание. Мы продолжаем работать в угрюмой тишине. Кто-то трогает меня за плечо и я быстро оборачиваюсь.

Рихтгофен. Дождь падает ему на фуражку, струится по лицу.

"Привет, Удет", говорит капитан и прикасается к козырьку. "Гнилая погодка сегодня".

Я молча отдаю ему честь и смотрю на него. Спокойное лицо, большие, холодные глаза, полуприкрытые тяжелыми веками. Этот человек уже сбил шестьдесят семь самолетов, он лучший из нас всех. Его машина стоит на дороге за его спиной. Он только что вскарабкался на склон под дождем. Я жду.

"Сколько ты свалил, Удет?"

"Девятнадцать подтвержденных, на одного еще нет свидетельских показаний", отвечаю я.

Он ворошит тростью влажную листву.

"Гм, ну тогда двадцать, " повторяет он. Он оглядывается вокруг и смотрит на меня испытующе.

"В таком случае кажется, ты созрел для нас. Хочешь с нами летать?"

Хочу ли я? Конечно да! Если бы я мог, то тут же схватил свои вещи и поехал бы с ним. В армии много хороших эскадрилий, и Яста 37 не самая плохая из них. Но на свете только одна группа Рихтгофена.

"Да, герр ритмейстер", отвечаю я, и мыжимаем руки.

Я гляжу ему вслед, вижу как его худощавая и стройная фигура спускается вниз по склону, залезает в автомобиль и исчезает за следующим поворотом, скрытым дождевой завесой.

"Ну, можно сказать, мы своего добились", говорит Беренд и я наклоняюсь рядом с ним чтобы прибить края палатки к земле.

На фронте много хороших эскадрилий, но группа Рихтгофена только одна. И сейчас я вижу, в чем секрет его успехов.

Другие эскадрильи живут в замках или маленьких городках, в двадцати-тридцати километрах от линии фронта. Группа Рихтгофена обитает в гофрированных железных лачугах, которые могут собраны и разобраны в считанные часы. Они редко базируются дальше чем двадцать километров от передовых постов. Другие эскадрильи поднимаются в воздух по два-три раза в день. Рихтгофен и его люди взлетают пять раз в день. Другие сворачивают операции при плохой погоде, здесь летают почти при любых погодных условиях.

Тем не менее, самая большая неожиданность для меня - аэродромы подскока. Это изобретение Бельке, учителя немецкой военно-воздушной службы. Рихтгофен, его самый одаренный ученик, следует этой практике.

Всего лишь в нескольких километрах за линией фронта, часто в пределах досягаемости

вражеской артиллерии, мы, в полной боевой готовности, сидим в открытом поле на раскладных сулях. Наши самолеты, заправленные и готовые к взлету, стоят рядом. Как только на горизонте появляется противник, мы поднимаемся в воздух - по одному, по двое, или целой эскадрилей. Немедленно после боя мы приземляемся, усаживаемся в наши кресла, вытягиваем ноги и обшариваем небо в бинокли, ожидая новых противников. Обычных патрульных полетов нет. Рихтгофен в них не верит. Он разрешает лишь полеты в тыл противника. "Эти сторожевые посты в воздухе расслабляют пилотов", утверждает он. Так что мы поднимаемся в воздух только для боя.

Я прибываю в расположение группы в десять часов и уже в двенадцать я вылетаю на свою первую вылазку с Яста 11. Кроме нее, в группе Ясты 4, 6 и 10. Рихтгофен сам ведет в бой Ясту 11. Он лично испытывает каждого нового человека. Нас пятеро, капитан во главе. За ним Юст и Гуссман. Шольц и я замыкаем. Я в первый раз лечу на Фоккере-триплане. Мы скользим над рябым ландшафтом на высоте 500 метров.

Над развалинами Альбера, прямо под облаками висит RE, британский корректировщик артогня. Возможно, он управляет стрельбой своих батарей. Мы идем немного ниже, но он по всей очевидности нас не замечает, продолжая описывать круги. Я переглядываюсь с Шольцем. Он кивает. Я отделяюсь от эскадрильи и лечу к "Томми".

Я захожу на него спереди снизу и стреляю с короткой дистанции. Его двигатель изрешечен пулями как решето. Он тут же кренится и рассыпается на куски. Горящие обломки падают совсем недалеко от Альбера.

Через минуту я возвращаюсь в строй и продолжаю полет в сторону вражеских позиций. Шольц снова кивает мне, коротко и счастливо. Но капитан уже заметил мое отсутствие. Кажется, что он видит все. Он оборачивается и машет мне.

Ниже справа идет древняя римская дорога. Деревья все еще голые и сквозь ветки мы видим колонны на марше. Они идут на запад. Англичане отступают под нашими ударами. Прямо над верхушками деревьев скользит группа Сопвич Кемел. Возможно, они прикрывают эту старинную римскую дорогу, одну из главных артерий британского отступления. Я с трудом успеваю все это рассмотреть когда красный Фоккер Рихтгофена ныряет вниз и мы следуем за ним. Сопвичи разлетаются в разные стороны как цыплята, заведшиеся ястреба. Только одному не уйти, тому самому, который попал в прицел капитана.

Все это происходит так быстро, что никто потом не может точно вспомнить. Все думают на секунду, что капитан собрался его протаранить, он так близко, я думаю, не дальше десяти метров. Затем Сопвич вздрагивает от удара. Его нос опускается вниз, за ним тянется белый бензиновый хвост и он падает в поле рядом с дорогой, окутанный дымом и пламенем.

Рихтгофен, стальной центр нашего клиновидного строя, продолжает пологое снижение к римской дороге. На высоте десяти метров он несется над землей, стреляет из обоих пулеметов по марширующим колоннам. Мы держимся следом за ним и добавляем еще больше огня.

Кажется, что войска охватил парализующий ужас. Только немногие укрываются в канавах. Большинство падает там где шли или стояли. В конце дороги капитан закладывает правый вираж и заходит еще раз, оставаясь на одной высоте с верхушками деревьев. Сейчас мы можем ясно видеть результат нашей штурмовки: бьющиеся лошадиные упряжки, брошенные пушки, которые как волноломы раскалывают несущийся через них человеческий поток. На этот раз по нам стреляют с земли. Вот стоит пехота, приклады прижаты к щеке, из канавы лает пулемет. Но капитан не поднимается ни на метр, хотя в его крыльях появляются пулевые отверстия. Мы летим следом за ним и стреляем. Все эскадрилья подчинена его воле. Так и должно быть.

Он оставляет дорогу и начинает подниматься вверх. Мы идем за ним. На высоте пятьсот метров мы направляемся домой и приземляемся в час дня. Это третий вылет Рихтгофена в это утро.

Когда моя машина касается земли, он уж стоит на летном поле. Он идет ко мне и улыбка играет на его губах.

"Ты что, всегда их сбиваешь атакой спереди?", спрашивает он. Но в его тоне слышится одобрение.

"Я так уже нескольких сбил", говорю я с самым небрежным видом, который только могу на себя напустить.

Он ухмыляется и поворачивается, чтобы идти. "Между прочим, с завтрашнего дня можешь вступать в командование Ястой 11", говорит он через плечо.

Я уже знал, что получу под свою команду эскадрилью, но то, как это объявлено, застает меня врасплох. Шольц хлопает меня по спине. "Парень, ты у ритмейстера на хорошем счету".

"Только как ты мне это докажешь?", отвечаю я немного ворчливо.

Но так тут все и делается. Нужно привыкнуть к тому факту, что его одобрение всегда приходит в сухой манере, без малейшего следа сентиментов. Он служит отечеству всеми фибрами своей души и ожидает того же самого от своих летчиков. Он судит людей по тому, что им удастся достичь и также, возможно, по их товарищеским качествам. Того, кто оправдывает его надежды, он всячески поддерживает. Того кто не может их оправдать, он отчисляет не моргнув глазом. Тот, кто демонстрирует во время вылазки равнодушие, должен покинуть группу - в тот же самый день.

Конечно, Рихтгофен ест, пьет и спит как любой из нас. Но он делает это только для того, чтобы сражаться. Когда есть опасность, что запасы еду подойдут к концу, он посылает Боденшатца, своего образцового адъютанта в тыл в эскадронном экипаже, чтобы тот реквизирует все, что требуется. Для этого случая Боденшатц берет с собой коллекцию фотографий Рихтгофена с его автографом. "На память моему уважаемому боевому товарищу", гласит надпись. Эти фотографии чрезвычайно высоко ценятся у тыловых снабженцев. Дома, в какой-нибудь пивной, они способны вызвать почтительную тишину у всех сидящих за столом. А в группе Рихтгофена никогда не кончаются запасы сосисок и ветчины.

Несколько делегатов рейхстага объявили, что нанесут нам визит. Вечером они приезжают в огромном лимузине. Начинается величественная церемония, преисполненная торжественностью момента. Один из них даже одет во фрак, и когда он наклоняется, то крылья фрака машут как хвост трясогузки. За ужином они так много говорят, что у летчика может начаться зубная боль.

"Когда вы, сидя в своей машине, летите навстречу врагу, герр барон...", начинает один из них. Рихтгофен слушает все это с каменным лицом.

После бутылки вина они говорят о героической молодежи и родине. Мы сидим вокруг стола с опущенными глазами. Не находя нужных слов мы чувствуем, что о таких вещах не следует слишком много говорить. Затем этим господам показывают место, где они могут поспать. Они спят в маленькой лачуге из гофрированного железа, в такой же, как и все мы. Так у них будет достаточно впечатлений о жизни на фронте.

Мы стоим группой до тех пор, пока за маленькими оконцами не гаснут огоньки. "В самом деле", говорит Маусхаке, по прозвищу "Мышиный зуб", "нам следует дать им возможность лучше почувствовать, что такое война, ведь им завтра уезжать". Шольц подмигивает и говорит лаконически: "Воздушный налет". Мы тут же понимаем, что именно он имеет ввиду. Приносят лестницу и осторожно прислоняют ее к крыше хижины, в которой спят делегаты. Вольф, тихо, как кошка, карабкается к трубе с ракетницей Вери и детонаторами в руках. В хижине слышится треск и грохот, затем - взрывы детонаторов. Немедленно мы слышим крики. Светит полная луна. Мы стоим в темной тени другой хижины. Дверь распаивается и на пороге возникают три фигуры в развевающихся ночных сорочках. Капитан смеется до тех пор, пока по его щекам не начинают течь слезы. "Воздушный налет! Все по местам", грохочет громой голос из ночи и три фигуры исчезают за дверью с такой скоростью, как будто гонятся от смерти.

На следующее утро они торопятся уехать. Они даже отказываются от завтрака с нами. Мы еще долго смеемся. Нас редко посещает веселье, но когда проделка попадает в яблочко, мы

смоемся очень долго. Даже впоследствии, ближе к концу войны, когда мы сражаемся как тонущие пловцы, это остается неизменным.

Я думаю о нашем пленнике в Берне. Лотар фон Рихтгофен, брат капитана, сбил еще одного. Это английский майор, и его самолет падает рядом с нашим лагерем. Рядом нет пехоты и мы держим пленника у себя.

Вечером он появляется вместе с Рихтгофеном в казино и его со всеми знакомят. Он сухощавый, немного вычурный, но спортивного вида, учтив, короче, джентельмен. Мы беседуем о лошадях, породистых собаках и самолетах. Мы не говорим о войне. Англичанин - наш гость, и мы не хотим создать у него впечатление, что из него выкачивают какую-то информацию.

В середине разговора он шепчет что-то своему соседу, затем поднимается и выходит.

Лотар смотрит ему вслед, немного озадаченный.

"Куда это он пошел?"

Он спросил, "Прошу прощения, где здесь туалет?", отвечает Мышиный зуб.

На мгновение устанавливается тишина. Маленькая хижина находится на самом краю лощины, в которой расположен лагерь. За ней - лес. Атлету не так уж трудно пробежать.

Высказываются противоположные мнения. Упитанный Маусхаке самый предприимчивый.

Он хочет выйти и поприсутствовать рядом с англичанином. Это можно сделать без всяких затруднений. Но Лотар не соглашается. "До сих пор мы обращались с этим человеком как с гостем и он не сделал ничего, что дало бы нам повод сомневаться в его хороших манерах". Но напряженность остается. Кроме того, мы несем ответственность за пленника. Если он убежит, нам не поздоровится.

Кто-то становится к окну чтобы наблюдать за англичанином. Через секунду к нему присоединяется еще шесть или восемь человек. Я тоже поднимаюсь. Англичанин идет по открытому месту размашистым шагом. Он останавливается, закуривает сигарету и оглядывается. Мы немедленно пригибаемся. Наше гостеприимство священно и наши подозрения могут окорбить его.

Он исчезает за сосновыми дверями домишки. Нижний край дверцы не доходит до земли и мы видим его коричневые ботинки. Это ободряет.

Но у Маусхаке поднимаются подозрения.

"Парни", говорит он шепотом. "Эти ботинки стоят там просто так. Он перескочил через заднюю стенку в одних носках и убежал. Ботинки не могут стоять так, если..."

Он показывает, как именно должны стоять ботинки, если человек занимается этим делом.

Англичанин появляется из-за стены. Приседая, мы бросаемся по местам. Когда он входит, мы говорим о лошадях, породистых собаках и самолетах.

"Я никогда бы не простил себе, если разочаровал таких гостей", говорит английский майор с легкой улыбкой в уголках рта. Мы благодарим его серьезно и церемонно.

На следующее утро коротконогий бородатый резервист уводит пленника, который то и дело оборачивается, чтобы помахать нам.

Через пять дней Мейер привозит любопытные новости из Гента. Какой-то англичанин напал на своего стражника и на полном ходу убежал из туалета поезда-экспресса, переодевшись в немецкую форму. Охранника нашли там же, связанного по рукам и ногам.

"Это был майор?", спросил взволнованно Мышиный зуб.

"Ты что, ясновидящий?", удивился Мейер. "Точно, майор, летчик".

"Так что он все-таки воспользовался туалетом!", кричит Мышиный зуб.

Мейер смотрит по сторонам в изумлении. Мы хохочем, пока у нас не начинают болеть челюсти.

Иногда мы летим по одиночке, иногда - целым звеном, но летаем мы каждый день. Каждый день идут бои. 28 марта я лечу с Гуссманом. Патруль в сторону Альбера. Уже полдень, и солнце светит с запада. Его слепящие лучи бьют прямо в глаза. Время от времени я прикладываю ко лбу руку, чтобы не упустить противника. Иначе они застанут нас врасплох.

Покойный Гийнемер преподавал этот урок всему фронту. Неожиданно, как будто ниоткуда, появляется англичанин. Он пикирует на Гуссмана, который пытается уйти от него, ныряя. Я вижу как они маневрируют в сотне метров ниже. Я ищу позицию, откуда смог бы снять англичанина, не задев Гуссмана.

На секунду я поднимаю голову и вижу, как ко мне летит второй англичанин. Он всего в 150 метрах от меня. С расстояния в восемьдесят метров он открывает огонь. Я не могу его избежать и продолжаю лететь настречу. Тах... тах... тах..., стучит мой пулемет, тах... тах... тах..., грохочет его.

Мы находимся друг от друга в двадцати метрах и кажется, что мы собрались протаранить друг друга в следующую секунду. Затем небольшое движение и он проносится прямо над моей головой. Воздушная струя от его винта ударяет по моей машине и я чувствую запах раскаленного машинного масла.

Я закладываю крутой вираж. "Вот и начинается воздушный бой", думаю я. Но он тоже поворачивает и мы снова несемся друг на друга, стреляя в упор, как два рыцаря с копьями наперевес. На этот раз я прохожу над ним.

Еще один разворот. И вновь он летит прямо на меня, и снова мы сближаемся. Тонкие, белые следы трассеров висят в воздухе как занавеси. Он проносится надо мной на таком расстоянии, что его можно коснуться рукой... "8224" написано на его фюзеляже черными буквами.

Четвертый раз. Я чувствую как мои руки становятся влажными. Этот приятель явно похож на человека, который ведет решающий бой своей жизни. Он или я ... один из нас должен проиграть... иного выхода нет. Пятый раз! Нервы натянуты до предела, но мозг работает с холодной ясностью. На этот раз должно прийти какое-то решение. Я ловлю его в прицел и лечу навстречу. Я не уступлю ни на шаг.

Вспышка в памяти! Я вижу бой над Ленсом. Две машины вот так же мчались друг на друга и столкнулись лицом к лицу. Фюзеляжи падали вниз как металлический шар, сплетенные вместе, а крылья продолжали лететь по-отдельности, пока не ударились о землю и рассыпались.

Мы несемся друг на друга как сумасшедшие дикие кабаны. Если он не потеряет самообладания, мы погибнем оба!

Затем он отворачивает, чтобы избежать столкновения. В это момент я выпускаю в него очередь. Его самолет становится на дыбы, переворачивается на спину и исчезает в гигантской воронке. Фонтан земли, дым.

...Дважды я пролетаю над местом его падения. Пехотинцы в серой форме стоят внизу. Машут мне руками и что-то кричат.

Я лечу домой, мокрый от пота. мои нервы еще трепещут. В то же время в моих ушах серая, нестерпимая боль.

Я никогда не думал прежде о тех людях, которых сбивал. Тот, кто сражается, не должен смотреть на наносимые им раны. Но на этот раз мне хотелось знать, кем был тот парень. К вечеру, в сумерках, я сажусь в машину и еду. Недалеко от того места, где я его сбил, находится полевой госпиталь, и, возможно, его уже доставили туда.

Я спрашиваю доктора. Белый халат, освещенный карбидными лампами делает его похожим на привидение. Пилот получил пулевое ранение в голову и умер на месте. Доктор передает мне бумажник. Визитные карточки: лейтенант Маасдорп, Онтарио, Королевский военно-воздушный корпус, 47. Фотография старой женщины и письмо. "Тебе не следует так много летать. Подумай о нас с отцом".

Санитар приносит мне номер самолета. Он вырезал его из обшивки. Номер покрыт распыленными в воздухе кровавыми каплями. Я еду назад, в эскадрилью. Не следует думать о том, что каждого убитого будет оплакивать мать.

В следующие дни боль в ушах становится все хуже. Как будто кто-то в моей голове не переставая работает долотом и сверлом. 6 апреля я сбиваю еще одного. Сопвич Кемел, я выхватил его из середины вражеского строя. Это моя двадцать четвертая победа.

Когда я приземляюсь, боль такая сильная, что я еле-еле могу ходить. Рихтгофен стоит на летном поле и я спотыкаясь и не отдавая ему честь, бреду мимо него в сторону барачков. У нас на аэродроме только фельдшер. Доктор нам еще не положен. Фельдшер - приятный, грузноватый парень, но я не очень верю в его медицинские познания. Он так ковыряет в моих ушах своими инструментами, что мне начинает казаться будто он решил просверлить мне череп.

"Там внутри все заполнено гноем", произносит он наконец.

Дверь открывается и входит капитан.

"Удет, что с тобой?", спрашивает он. Фельдшер объясняет.

Капитан хлопает меня по плечу: "Готовься к поездке на лечение".

Я протестую: "Может быть, это пройдет?"

Но он прерывает меня: "Ты уезжаешь завтра. Дома пройдет быстрее".

Мне трудно покинуть мою новую эскадрилью и прерывать череду успехов. Он тоже это знает, потому что мы все в той или иной степени верим в закон черно-белого, когда период удач сменяется неудачами. На следующее утро он сам ведет меня к двухместному самолету. Он стоит на поле и машет мне вслед фуражкой. Его белокурые волосы блестят на солнце.

Возвращение домой

Поезд прибывает в Мюнхен рано утром. Город еще спит, улицы пусты, лавки закрыты и только изредка чья-то тень проскользнет мимо. Я направляюсь по Кауфингерштрассе, прохожу Стахус. "Снова дома", думаю я, "я вернулся домой." Но чувство дома, та теплота, когда вспоминаешь знакомые вещи, все еще не вернулась ко мне. На заре город все еще так же далек, как спящий.

Я захожу в табачную лавку и звоню моему отцу в офис. Несмотря на ранний час он уже там. Он всегда приходит на работу первым.

"Эрни", говорит он, и я слышу, как он несколько раз глубоко вздыхает, "Эрни, ты здесь?"

Мы договариваемся, что пока ничего не будем говорить маме и что я позвоню ему на фабрику перед обедом. Сначала мне надо к врачу.

Это наш старый семейный врач и он встречает меня громким приветствием. Может быть другие здороваются так по профессиональной привычке, но у него приветствия исходят из самого сердца. Затем он осматривает меня и становится серьезным.

"С полетами покончено, молодой человек", говорит он, "твои ушные перепонки лопнули и внутреннее ухо инфицировано".

"Это невозможно!" Несмотря на все усилия я не могу справиться с собой и мой голос дрожит.

"Ну", хлопает он меня по плечу, "может быть дядюшка Отто и сможет собрать все это по кусочкам. Хотя будет лучше, если мы при этом будем оставаться на земле".

Доктор расстроил меня. Идя к отцу, я не могу разогнать свои мысли. "Не будет больше полетов" - не может быть! Это то же самое, что надеть на меня черные очки, и заставлять двигаться ощупью всю оставшуюся жизнь. Тогда лучше уж быть зрячим несколько лет и затем ослепнуть навеки. Я решаю следовать совету доктора лишь до тех пор, пока считаю, что так для меня будет лучше.

Затем я встречаюсь с отцом. Как только я вхожу в его офис он встает из-за своего стола и идет ко мне большими шагами. "Мальчик, мой дорогой мальчик", говорит он и протягивает ко мне обе руки. Мгновение мы стоим и смотрим друг на друга, и затем он говорит, немного задыхаясь.

Хорошо французам. Они совершенно не смущаются, когда говорят "привет" или "до свиданья". Они обнимаются и целуются стоя или на ходу. Я наблюдал это множество раз на станциях. Мы сидим друг напротив друга по разные стороны стола. "Между прочим, помнишь ты писал мне о том "Кадроне", которого не мог сбить. Может быть та машина была бронированной?"

Я отрицательно качаю головой.

"Но конечно, ты не мог этого знать", продолжает он торопливо. "Я думаю, мы тоже должны бронировать наши самолеты, по крайней мере пилотскую кабину и мотор. Тогда самая большая опасность для пилота была бы уменьшена."

Я не соглашаюсь. Для артиллеристских "кроликов" это было бы в самый раз, но для истребителя даже вопроса об этом не стоит. В бронированной машине нельзя будет подняться выше тысячи метров.

"Это не имеет значения. Главное - безопасность полета".

"Но папа", говорю я немного высокомерно, "какие у тебя странные идеи о полетах".

Энтузиазма в его голосе становится меньше. "Да, возможно ты прав", говорит он усталым голосом и в тот же самый миг я чувствую горький стыд. Как мало я его знал. Броня эта была отлита в его сердце и должна была защитить меня, а я спихнул ее в кучу металлолома, даже не взглянув.

"Говорят, что на заводах Круппа пытаются сделать новый легкий металл, который не пробивают пули", говорю я, пытаюсь собрать обломки, но он отмахивается от меня: "Пусть их, сынок. Давай позвоним маме и скажем ей, что я приведу гостя, и пусть она подготовит еще одно место за обеденным столом".

И вот мы дома. Отец входит в комнату впереди меня. Мама готовит на стол. Я слышу звон серебра и затем ее голос: "Ты читал последний армейский отчет? Наш Эрни сбил своего двадцать четвертого".

Я больше не могу прятаться. Я вбегаю в комнату. Она бросает серебро на стол и мы обнимаемся. Затем она берет меня руками за голову и отодвигает от себя: "Болен, сынок?"

"Ничего, немного уши разболелись".

Она немедленно стихает. Это с ней всегда так: она абсолютно уверена, что на войне со мной ничего не может произойти и она всех уверяет в этом с такой решимостью, как будто Бог дал ей свое личное обещание, скрепленное рукопожатием. Иногда это меня смешит, иногда я тронут ее невинной верой, но постепенно ее доверие передается и мне, и я часто уверяю себя, что для меня пуля еще не отлита.

Пока мы обедаем, она засыпает меня вопросами и я отвечаю с осторожностью. Я не рассказываю ей о моем поединке с Маасдорпом. За праздничным пудингом я не хочу говорить о человеке, который был настоящим мужчиной с сердцем героя и погиб от моей руки.

Да, сейчас я дома. В это чувство окунаешься с головой, как в теплую воду. Все расслабляет, спишь допоздна, ешь помногу, портишься. В эти первые дни я редко выхожу в город. Что мне там делать? Мои товарищи в армии, многие уже мертвы, а я не люблю ходить среди незнакомых мне людей.

Мне очень нужно повидать старого Бергена. Но я боюсь этого визита. Говорят, старик в депрессии после того, как он получил известие о гибели своего сына Отто. Чем я могу облегчить его боль? Проще драться, бесполезно смотреть на раны, нанесенные войной. Каждый день мне приходится ходить к доктору. Он не очень доволен тем, как идет лечение. Однажды утром, как раз когда я возвращаюсь с очередного визита, в Хофгартене я встречаюсь с Ло. Мы были знакомы еще подростками. Несколько раз мы танцевали, ходили на пикники.

Мы гуляем вместе. В своем шелковом платье с неброским рисунком она выглядит так, как будто расцвела прямо этим утром. Когда смотришь на нее, не верится, что где-то идет война. Но затем она говорит мне, что работает медсестрой в армейском госпитале. В ее палате лежит человек с пулей в позвоночнике, который умирает уже много месяцев. Раз в несколько недель его навещают родственники, приезжающие издалека. Он продолжает жить, но все равно умрет рано или поздно, так говорят доктора.

Она смотрит на меня с удивлением, когда я обрываю ее: "Послушай, разве мы не можем говорить о чем-нибудь другом?"

На какое-то время она обижается. Она вытягивает свою нижнюю губу и становится похожей

на ребенка, у которого только что отняли шоколадку. Перед ее домом мы договариваемся, что встретимся в один из вечеров в Ратскеллере.

После обеда я иду к Бергенам. Служанка ведет меня в гостиную, где со газетой в руках сидит Берген. Он весь погружен в чтение. Ганс и Клаус на фронте, а его жена умерла уже много лет назад. Наконец он смотрит на меня поверх пенсне. Его лицо стало старым и морщинистым, его ван-дейковская борода висит как снежная сосулька.

Как ты иногда беспомощен, когда у другого боль... "Я хотел... Я сожалею... Отто..."

"Так уж вышло, Эрнест. Хочешь взглянуть на комнату Отто?" Он встает и берет меня за руку: "Пойдем".

Он открывает дверь и мы поднимаемся по лестнице. Мы стоим в комнате Отто, это маленькая мансарда, в которой он жил в студенческие годы.

"Ну вот", говорит старый Берген и делает жест рукой. Ты можешь посмотреть". Затем он поворачивается кругом и уходит. Вот он спускается по лестнице, и его шаги затихают. Я остаюсь один с Отто.

В его маленькой комнате - все как было тогда. На сундуке и книжных шкафах стоят модели самолетов, которые Отто смастерил сам. Они выглядят великолепно. Все типы машин, известные в то время, воспроизведены до мельчайших деталей. Когда мы запускали их, они обычно падали вниз как камни. Это было десять лет тому назад.

Я сажусь за детский письменный стол с зеленой, закапанной чернилами крышкой и поднимаю верх. Все лежит здесь, руководства по моделированию, дневник Мюнхенского аэроклуба за 1909 г. Его членам от 10 до 13 лет. Каждую среду группа авиамodelистов собиралась у нас дома, каждую субботу проходили большие авиационные сборища на берегах Стадтбаха или Исара. Несмотря на то, что самолеты Отто были самыми красивыми, мои уродливые создания летали быстрее. Своим старательным детским почерком он регистрировал все, что происходило, поскольку это входило в его обязанности как секретаря клуба. "Авиатор, герр Удет, был награжден первым призом за то, что его модель I-11 успешно перелетела канал", говорится там, поскольку моя машина сумела перелететь Инсар и не разбилась.

Все стоит на своих местах, как будто бы он все расставил перед своим отъездом. Вот письма, все, которые я ему написал, упакованы в маленькие пачки и на всех стоит дата, когда они были получены. Наверху последнее, нераспечатанное. В нем новость о том, что я смог договориться о его переводе в мою эскадрилью. Письмо начинается "Ура, Отто!"

Вот рисунки. Он всегда рисовал правой рукой, а я - левой. Фотографии тоже все здесь, начиная с тех, которые сделаны в раннем детстве. Он сохранил даже те, что были сделаны во время "встречи на Нидершау". Я взлетаю в первом планере, сконструированном аэроклубом и разбиваю его. У планера смят нос, и Вилли Гетц, наш председатель, с полной серьезностью объясняет жителям Нидершау что земной магнетизм в этом месте слишком силен и не дает планеру подняться в воздух. Затем групповое фото времен танцевальной школы, затем война, мотоциклисты, первый летный костюм, фото после первой победы. Под каждой фотографией - дата и белыми чернилами - подпись. Мы прожили вместе целую жизнь.

Есть что-то странное в мальчишеской дружбе. Мы скорее дали бы вырвать языки, чем признались бы, что другой что-то значит для тебя. Только сейчас я все это понимаю.

Я закрываю парту и спускаюсь вниз по лестнице. Старый Берген снова сидит со своей газетой. Он встает и пожимает мне руку, но делает это вяло, без тепла.

"Эрни, если хочешь, возьми какие-нибудь вещи Отто себе на память", говорит он. "Бери, что нравится. Он любил тебя больше всех остальных своих друзей".

Он отворачивается и начинает протирать пенсне. Но у меня нет пенсне. Слезы текут по лицу. Какое-то время я стою в прихожей, потом выхожу на улицу.

Мне исполнился двадцать один год и Отто был моим лучшим другом.

Вечером я встречаюсь с Ло в Ратскеллере. Я в гражданской одежде, чтобы хотя бы на этот вечер забыть о войне. Но Ло немного обижена. Так я выгляжу недостаточно героически.

Мы едим грубую, жилистую телятину и большие, отливающие синевой картофелины,

которые выглядят так будто они страдали от недоедания и к тому же провели слишком много времени в воде. Только вино зрелое и сладкое, на его качестве война никак не отразилась. К нам подходит старушка с розами. Ло смотрит искоса на цветы. "Оставь их в покое", говорю я, "все равно они все спутались".

Но старушка уже услышала меня. Она ставит свою корзинку и становится перед нами, подбоченясь.

"Вот это мне нравится!", чуть ли не визжит она на простонародном баварском диалекте.

"Посмотрите какой хорошенький маленький сопляк расселся тут, весь разнаряженный, как кукла, и хочет вырвать кусок хлеба прямо изо рта старой женщины. В окопы, там тебе самое место, молодой человек, вот что я тебе скажу".

Люди за соседними столиками, внимание которых привлекли крики старой женщины, смотрят на нас. Это все заставило бы меня крайне смутиться, если бы я действительно уклонялся от службы в армии, но поскольку это не так, все это развлекает меня, хотя Ло краснеет до корней волос.

"Ну хорошо", говорю я, "дайте мне тогда парочку букетов".

Старушка чудесным образом преображается. Ее гнев улетучлся со скоростью шторма на театральной сцене. И ее лицо светится сладкой вежливостью. Она начинает суетиться и перекладывать свои букеты с места на место.

"Не обращайтесь на меня внимание, молодой человек", болтает она, "любой может видеть, что вы еще слишком молоды для фронта. Я всего лишь дала волю своему темпераменту". "Вы все можете видеть", говорит она обращаясь к людям за столиками, "любой ребенок может догадаться, что этот мальчик празднует свое совершеннолетие".

Я машу рукой, чтобы она уходила. У Ло между бровями появляется морщинка.

"Только что исполнилось восемнадцать", огрызается она.

Я касаюсь ее маленькой, обожженной солнцем руки, лежащей на скатерти.

"Знаешь", говорю я, "я хотел бы быть сейчас с тобой наедине, вдали от всех". Это прямо-таки воздушная атака со стороны солнца. Она настолько удивлена, что я могу почти читать мысли, проносящиеся по ее еще детскому лбу.

"Мы могли бы уехать куда-нибудь", сказал я, "куда-нибудь в деревню. Может быть поедем на озеро Старнберг? Густав Отто меня приглашал. А может быть лучше поехать еще дальше - в горы? Мы могли бы итам наслаждаться волей и спокойствием, одни в целом мире".

Сначала она смеется, потом поджимает губы.

"Но как мы сможем это сделать? Что скажут мои родители?"

"Пожайлуста, прости меня", говорю я ей, "но все мои хорошие манеры остались на фронте".

Мы выходим. Влажная ночь, ветер раскачивает верхушки деревьев. Мы останавливаемся под фонарным столбом и она хлопает меня по руке.

"Пожайлуста, не сердись".

Я пожимаю плечами: "Сердиться? На что?"

Но я чувствую, что чего-то не хватает. Когда я был там, на фронте, все изменилось. Вещи, которые были важными когда-то, больше уже не важны. Другое стало важным как сама жизнь. Но здесь жизнь все еще та же. Я не могу изложить это словами. Но неожиданно чувствую, как скучаю по своим друзьям.

Мы останавливаемся у садовых ворот перед домом Ло. Она медлит. Но я быстро целую ее руку и исчезаю.

На следующий день я гуляю один. В мыслях у меня разброд и шатание. Я не могу вернуться на фронт. Когда я завожу об этом разговор, доктор дает мне гневную отповедь. Но здесь я чувствую себя потерянным. Когда я прихожу домой, мои родители еще спят.

Но вечером все окна ярко освещены. Я взбегаю по ступенькам когда дверь отворяется и на пороге я вижу мою маму, ее лицо покраснело и сияет счастьем. Она машет листком бумаги, зажатым в руке, это телеграмма из моей группы о том, что я награжден Pour Le Merite.

Я счастлив, счастлив по-настоящему, даже хотя для меня это и не полная неожиданность.

После определенного количества побед Pour Le Merite награждают почти автоматически. Но

подлинная радость - та, которая исходит от моей матери. Она просит, чтобы все встречали меня стоя, даже моя маленькая сестра. Она вырезала орден из газеты и сейчас вешает его мне на шею на нитке.

Отец пожимает мне руку. "Поздравляю, сынок", говорит он, и больше ничего. Но он уже открыл бутылку Штейнбергера 1884 года разлива, одну из семейных реликвий. Это говорит больше, чем слова. Вино золотисто-желтого цвета и перетекает как масло. Его аромат наполняет всю комнату. Мы чокаемся.

"За мир, справедливый мир", говорит отец.

На следующее утро, еще в постели, я думаю о Ло. Если бы у меня был мой Pour Le Merite, я мог бы назначить ей свидание, как будто ничего не случилось. Я выпрыгиваю из постели, одеваюсь и иду в город.

Я направляюсь к ювелиру на Театинерштрассе. Продавец пожимает плечами: "Pour Le Merite? - нет, не делаю! Недостаточный спрос". Плохо. Я-то думал, что удивлю Ло. Но пройдет две недели прежде чем орден придет мне из части. Медленно я бреду по улице, механически отвечая на приветствия солдат и офицеров, проходящих мимо. Вот идет морской офицер. Это Веннингер, командир подводной лодки. У него на шее - Pour Le Merite, блестит на солнце.

На меня накатывает вдохновение. Я иду к нему, отдаю честь и спрашиваю: "Простите меня, но нет ли случайно у вас второго Pour Le Merite?".

Он смотрит на меня широко открытыми глазами и я объясняю. Он громко смеется. Нет, у него нет второго ордена, но он дает мне адрес лавки в Берлине, где я могу его заказать, телеграммой, если мне так не терпится. Я благодарю его, немного огорченный и снова отдаю честь.

Через два дня из Берлина приходит орден. Он лежит как звезда на красной вельветовой подушечке. Я звоню Ло и назначаю свидание. Она смеется и сразу же соглашается. В ожидании ее я хожу взад и вперед перед домом. Затем появляется она и тут же замечает орден у меня на шее. "Эрни!", кричит она и начинает скакать вокруг меня как птица, собирающаяся взлететь. На самой середине улице, где нас все видят, она обнимает меня за шею и целует.

Яркое, солнечное, весеннее утро. Рука об руку мы медленно бредем к центру города. Когда нам навстречу попадают военные, они салютуют особенно четко и большинство оборачивается нам вслед. Ло считает: из сорока трех обернулось двадцать семь. Мы идем вдоль Театинерштрассе, главной улице Мюнхена, где все начинается и все кончается. Перед входом во дворец короля Баварии стоит стражник, невысокий резервист с бородой и носом-пуговицей. Вдруг, зычным голосом, совершенно не соответствующим своему маленькому росту он командует: "Стража, смирно!"

Подходят солдаты. "Смир-рно!", командует офицер. "На пле-ечо! Achtung! На крау-у-ул!"

Я оглядываюсь. Рядом никого нет. Затем я вспоминаю о моем Pour Le Merite. Я возвращаю салют почти миновав их. Приветствие получается у меня каким-то скомканным и без всякого достоинства.

"Что это было?" спрашивает Ло, глядя на меня большими глазами.

"Боже мой", говорю я величественно, "стража должна стоять по стойке смирно перед Pour Le Merite".

"Ты шутишь!"

"Вовсе нет!"

"Вот здорово! Давай еще попробуем".

Поначалу я немного упорствую, но затем соглашаюсь. Кроме того, я сам все еще не уверен. На этот раз мы хорошо подготовились и идем на дело приосанясь. "Стража, смирно!", кричит стражник. В тот же самый момент Ло цепляется мне за руку и грациозно кивает им головой. Женское тщеславие ничто не может удовлетворить. Если бы она смогла настоять на своем, мы заставляли бы стражу стоять по стойке смирно до самого вечера. Но я бастую. Военные ритуалы - не игрушка для маленьких девочек. Ло надувается.

Бозоблачное небо как голубой шелк. Никогда больнее у меня не было такой весны. Мы встречались каждый день, гуляли по Английскому саду, пили чай или ходили в театр. Война была где-то далеко-далеко. Однажды мы увидели толпу у театра, собравшуюся у плаката на стене. .

"Наверное, вести о новой победе", говорю я, когда мы подходим ближе. Но читая плакат я чувствую, как будто кто-то ударил мне в самое сердце. "Ритмейстер фрайгерр фон Рихтгофен пропал без вести", написано на нем. Текст плывет у меня перед глазами. Я никого не вижу и ни на кого не обращаю внимание, когда проталкиваюсь через толпу чтобы подойти поближе. Прямо передо мной на желтом листе бумаги сообщение: "Не вернулся с задания. Расследование пока не дало результатов".

Я знаю наверняка, капитан мертв.

Что это был за человек! Конечно, и другие тоже сражались. Но у них у всех были жены или дети, мать или профессия. Они забывали обо всем этом только изредка. Но он постоянно жил за этими границами, которые мы пересекаем только в отдельные великие моменты. Его личная жизнь была стерта из памяти когда он сражался на фронте. А он всегда сражался, когда был на фронте. Еда, питье, сон - вот и все, что он хотел от жизни. Только то, что давало ему возможность сражаться. Он был самый незатейливый человек из всех, кого я когда-либо знал. Пруссак до мозга костей, и величайший из солдат.

Чья-то рука осторожно сжимает мою. На мгновенья я совсем забыл о Ло.

"Если ты все еще хочешь съездить в деревню, я с удовольствием с тобой поеду", говорит она, глядя на меня так, как будто я должен завтра умереть.

На следующий день мы выбираемся на озеро Старнберг. Листья в этом году распустились рано, деревья и кустарники ярко зеленого цвета. Мы останавливаемся у Густава Отто и его жены. Это простые и добросердечные люди. Они знают и соблюдают первое правило гостеприимства. Они не заставляют нас приспосабливаться к их повседневной жизни и позволяют нам делать все, что мы захотим. По утрам мы скачем верхом или плаваем на лодке по озеру. После обеда мы гуляем по лесу. Мы ступаем по увядшим прошлогодним листьям, а над нашими головами на деревьях распускаются новые. Кажется, что нет никакой войны. Когда мы все будем мертвы и забыты, эти деревья будут продолжать зеленеть, приносить семена и вянуть.

И все-таки, все-таки иногда, когда мы отдыхаем, лежа на траве я ловлю себя на том, что всматриваюсь в толстые подбрюшья облаков. Может быть кто-то сейчас спикирует оттуда? И утром, когда мы встаем, первым делом я смотрю на небо. Будет ли сегодня летная погода? В первые пять дней я даже не прочитал ни одной газеты, но сейчас я уже сам иду встречать почтальона. Там должно быть жарко. Группа в самой гуще боя, и Левенхардт почти каждый день сбивает по самолету. Сейчас у него тридцать семь, а когда я уезжал, у нас было поровну. Наверняка и мы несем серьезные потери. Полдень, мы с Ло в лодке на самой середине озера. "Знаешь", говорю я задумчиво. "иногда мне хочется назад". В первый раз я заговорил об этом.

Ло бросает руль и смотрит на меня, ее губы трясутся.

"Что ж, значит ты меня совсем не любишь?"

Нет, она не понимает. Я поднимаюсь и сажусь прямо. Лодка раскачивается. Я целую ее. Я немного печален, мама поняла бы меня сразу же.

Погода невероятно прекрасна. Каждый день лучше чем предыдущий. На третью неделю я отправляюсь в Мюнхен чтобы встретиться с доктором. Воспаление прошло. "Но тебе нужно выздороветь, набраться сил", говорит он благодушно.

Вечерами мы сидим на террасе в доме Густава Отто. Полная Луна. Ло устала и рано уходит в свою комнату. Я сижу в кресле-качалке рядом с Отто. Мы курим.

"Будешь ли ты сердиться, если однажды утром я внезапно встану и уеду?"

По огоньку на кончике его сигары я вижу, что он повернул свою голову ко мне.

"Что сказал доктор?"

"Пока все идет нормально."

Он какое-то время молчит. Затем: "Я думаю, я и сам бы так сделал."

"Хорошо." Мы понимаем друг друга.

Пять утра. Отто будет меня, и мы спускаемся на цыпочках по лестнице. Ло спит, наша машина ждет внизу.

Железнодорожная станция в этот час почти пустынна. Только несколько торговков раскладывают свой товар. Похоже, будет дождь. Утро с трудом поднимается над холмами. Я возвращаюсь на фронт.

Конец

Группа стоит в Монтуссар-Ферме. Я прибываю в полдень и отправляюсь прямо в офицерскую столовую. Там много новых лиц, щелканье каблуками, знакомства. За столом - общая встреча. Глючевски, Маусхаке, белокурая голова Райтера фон Прештина, Дрекман, приветствия, кивки, тосты. Иногда глаза ищут кого-то, но напрасно, о тех кого нет, не говорят.

После обеда Рейнхард отводит меня в сторону. Он держит трость, принадлежавшую капитану, она будет теперь находится у каждого нового командира.

"Ты уже знаешь, Удет?" Я киваю. "Если хочешь, можем съездить и взглянуть."

Летний день, тихо. Тополя вдоль дороги вибрируют на жаре как расплавленное стекло.

Машина медленно движется вдоль дороги. Справа, на маленьком холме - церковь. Мы вылезаем, Рейнхард впереди, минуем железные ворота и проходим узкими тропами между могилами.

Четыре холмика свежей земли, четыре квадратных таблички и над ними, крест из сломанных пропеллеров. "Пилот-капрал Роберт Эйсенбек, лейтенант Ганс Вейсс, лейтенант Эдгар Шольц, лейтенант Иоахим Вольф", написано на табличках.

Рейнхард отдает честь, я - тоже.

"Хорошая смерть", говорит он.

Мы стоим здесь какое-то время, затем возвращаемся домой.

Все теперь изменилось. Французы летают только большими группами - по пятьдесят, иногда по сто самолетов. Они затемняют небеса как саранча. Очень трудно выхватить кого-то из такого строя.

Артиллерия с той стороны работает только вместе с воздушным наблюдением. Аэростаты висят над горизонтом длинными рядами и наблюдатели кружат над ландшафтом, изрытым воронками. Больше всего страдают войска...

Я все еще в постели, когда звонит телефон. Пьяный ото сна, я бросаюсь к трубке.

Артиллерийский капитан с передовой. На север от леса Виллер-Коттре летает Бреге, корректирующий огонь вражеской артиллерии. Эффект ужасен.

"Где это?"

Он читает координаты со штабной карты.

"Мы будем там", вешаю я трубку.

Все уже улетели и я свободен в это утро, но нам приходится вылетать всегда, когда это необходимо.

Чеерез пять минут я готов и взлетаю. На фронте сегодня что-то невообразимое. Снаряды падают так близко друг к другу, что дым, пыль и фонтаны земли образуют занавесь, скрывающую солнце. Ландшафт подо мной окутан бледно-коричневой дымкой.

К северу от леса Виллер-Коттре я встречаю Бреге, летящего на высоте 600 метров. Я немедленно атакую его сзади.

В Бреге наблюдатель сидит позади пилота. Я ясно вижу его голову над полукруглым креплением для пулемета. Но он не может стрелять, пока я держусь прямо за ним. Его обзор закрыт стабилизатором и рулями высоты.

Мой пулемет лает короткими очередями. Голова исчезает из вида. "Попал", думаю я. Пилот этого Брге кажется смышленным парнем. Хотя я постоянно стреляю, он делает элегантный разворот на своей неуклюжей птице и пытается долететь до своих траншей. Я должен зайти на него сбоку, чтобы попасть в него или в двигатель. Если наблюдатель все еще жив, это будет большой ошибкой, потому что я окажусь в его секторе обстрела.

Когда я приближаюсь на расстояние двадцать метров, за пулеметом вновь появляется наблюдатель, готовый открыть огонь. Через мгновение он начинает стрелять. Раздается звук, как будто галька падает на металлическую поверхность стола. "Гонтерман!", вспоминаю я. Мой Фоккер становится на дыбы как закусившая удила лошадь. Руль высоты весь в дырках, трос между ним и ручкой управления перебит и его конец болтается в воздухе.

Моя машина охромела, ее ведет влево и она кружит на месте, постоянно кружит. Я не могу ей управлять. Подо мной - иссеченный воронками ландшафт, каждый раз перепахиваемый взрывами новых снарядов. Есть только одна возможность выбраться. Каждый раз, когда Фоккер направляется на восток, я осторожно открываю дроссельную заслонку. Таким образом круги удлиняются и я могу надеяться, что сумею долететь до наших позиций. Это медленный, мучительный процесс. Неожиданно машина останавливается в воздухе и падает вниз как камень.

Парашют - вытащить ноги - встать на сиденье! В одно мгновение давление воздуха отбрасывает меня назад. Удар в спину. Я ударяюсь спиной о стабилизатор. Слишком свободно подогнанные лямки парашюта зацепились за закрылок руля высоты и падающая машина тянет меня за собой с непреодолимой силой! "Ло будет плакать...", думаю я, "Мама... меня не опознают... у меня с собой никаких бумаг... они там внизу стреляют как сумасшедшие..." В тот же самый момент я пытаюсь со всей силы отогнуть закрылок. Это трудно, невероятно трудно. Земля несется на меня со страшной скоростью. Затем - рывок - я свободен! Машина летит, кувыркаясь, уже подо мной. Резкий рывок за кольцо и я как будто плыву, подвешенный на стропах. Сразу же - приземление. Парашют раскрылся в последний момент.

Парашютный шелк вздымается надо мной. Вокруг меня - взрывы снарядов. Я сражаюсь с белым потолком как тонущий. Наконец, свободен. Ландшафт, изрытый воронками, мрачен и гол. Должно быть я на ничейной земле, но не знаю, где. Я должен идти на восток, там дом. Восемь часов утра, солнце бледно, как будто выгорело. Здесь, внизу, завеса пыли, выброшенной в воздух взрывами снарядов, кажется еще гуще.

Я отстегиваю парашют и бегу. Разрывы снарядов все ближе, будто гонятся за мной. Большой ком земли кулаком бьет меня в затылок. Я падаю, снова поднимаюсь, продолжаю бежать.

Правая нога болит. Должно быть я подвернул ее, когда приземлился.

Воронка и несколько французских шлемов. Я все еще за вражескими линиями? Солдаты смотрят на восток, спинами ко мне. Они не двигаются. Возможно, они мертвы. Будет лучше, если я их обойду. Я попадаю на пшеничное поле. Стебли уже высотой с человека. Я поднимаюсь с колен и слегка пригибаясь иду на восток. Вот во весь рост стоит офицер.

"Первое... огонь!", командует он, и ему отвечает рев орудия. Я встаю и махаю ему рукой. Он махает мне в ответ и я подбегаю к нему.

"Сигарета есть?", спрашиваю я сухими губами. "Бауэр", представляется он, отдает честь и лезет за портсигаром. "Удет", говорю я, и на какой-то момент ураганный огонь престаёт существовать, так сильны ритуалы воспитания, что даже война не может стереть их.

"Второе готово?", кричит он. "Готово" отвечают ему из укрытия.

"Второе... огонь!" Земля сотрясается от выстрела.

Он зажигает мне спичку и я вдыхаю дым долгими, голодными затяжками.

"Видели ваш прыжок, Негг Kamerad, это было нечто! Третье готово?"

Я спрашиваю его, в каком направлении тыловые позиции. Он указывает себе за спину по направлению к высотам Кутри.

Я благодарю его и хромаю дальше. Новая зона обстрела и вновь разрывы совсем близко от меня. И вновь я отброшен на землю взрывной волной.

Укрытие с горящим перед входом огнем, защитой против газа. Внутри полно солдат и офицеров. Я прошу телефониста связать меня с группой.

"Удет", кто-то кричит за моей спиной, "это же Эрни!" Я оборачиваюсь и смотрю на странного солдата. Его твердое, бледное лицо с покрасневшими глазами говорит о трудных днях и бессонных ночах.

"Карл Мозер?", спрашивая я неуверенно.

"А то кто же!" Под его руководством я сваривал первые трубы на фабрике моего отца.

"Ты помнишь... помнишь то время?" Окружающий нас мир куда-то отдалается. Мы стоим на травяном поле, три мальчика, Вилли Гетц, Отто Берген и я. Карл лежит на спине в своем лучшем выходном костюме, жует литок клевера и смотрит как мы запускаем воздушных змеев.

Маленькая девочка сопровождает запуск каждого змея радостным хлопаньем в ладоши. Вилли Гетц подхватывает ее, пять змеев связаны вместе и тянут ее вверх. Она визжит как грудной ребенок и ее мать бежит к ней. Медленно и осторожно Отто опускает змеев на землю. Женщина плачет и время от времени ударяет его по спине, но он не выпускает веревки из рук.

"А где Отто сейчас?", спрашивает Карл.

"Погиб!", отвечаю я.

"Хм, тоже погиб", бормочет он.

Меня соединяют. Автомобиль группы подберет меня на дороге из Суассона в Шато-Тьери. Предполагается, что я доеду до нее на лошади, которую позаимствую в полковом штабе. После обеда я поднимаюсь в воздух на новой машине. Среди воронок внизу вижу Фоккер, в котором я чуть не разбился в это утро. Обгоревший, голый каркас похож на скелет птицы.

С каждым днем воевать все тяжелее. Когда взлетает один наш самолет, с той стороны поднимается в воздух пять. И когда один из них падает рядом с нами, мы набрасываемся на него и снимаем все что можно, потому что нам никогда не хватает таких замечательных инструментов, сияющих никелем и медью. Этому изобилию мы не можем противопоставить ничего кроме нашего чувства долга и четырехлетнего опыта. Каждый взлет означает непременный воздушный бой, а мы взлетаем часто. С третьего по двадцать пятое августа я сбиваю двадцать самолетов противника.

На одном из мертвых найден мой портрет, вырезанный из газеты с надписью : "Ас из асов". Капитан мертв и у меня теперь - самый большой счет.

Вечером восьмого числа приходит приказ всем исправным машинам переместиться выше по течению Соммы. Здесь англичане уже несколько дней накапливаются для прорыва.

Ситуация становится для нас критической. Четырьмя четверками, как хищные птицы мы летим на север. Чем дальше на север, тем явственнее приметы битвы. Неподалеку от Фонтан-лез-Каппи я обнаруживаю вражеский самолет, летающий над самыми траншеями. Я отделяюсь от звена и атакую его, стреляя с ходу. После очереди из двадцати выстрелов он взрывается в воздухе и рассыпается на куски рядом с траншеями. 5:30 вечера.

К шести часам у нас кончается горючее. У нас было его не так уже много, когда мы взлетели. Запасы за последние дни были сведены к минимуму и никто не думал, что нам придется лететь так далеко. Нам нужно приземлиться, чтобы заправиться. Мы спускаемся вниз как скворцы на пшеничное поле. Машины выстраиваются в ряд. Все поле забито.

Командиры звеньев беседуют с комендантом аэродрома, дружелюбным парнем. Он хотел бы нам помочь, но ему самому нужно горючее. Мы предлагаем, чтобы он поделился с нами. Он колеблется.

Пока мы ведем переговоры, воздух наполняется гудением британских моторов. Они приближаются и мы уже можем ощущать запах раскаленного масла. То здесь то там самолеты показываются в просветах между облаками. Холодный летний вечер. Тяжелые облака плывут к востоку, голубое небо видно только изредка. "Хорошая погода для атак на аэростаты", говорю я себе.

Неожиданно английская машина появляется из серой дымки у нас над головой, стреляя из обоих пулеметов. Печальное зрелище! Самолеты группы Рихтгофена скучились здесь как стайка цыплят, беспомощные без топлива, и над ними - англичанин, как ястреб. Я охвачен яростным гневом. Я бегу к моему самолету и взлетаю в воздух даже не пристегнув ремни. Он начинает новую атаку, а я захожу на него сзади. Он до такой степени захвачен врасплох, что забывает о необходимости защищаться. Короткая очередь, всего десять выстрелов, он раскачивается из стороны в сторону и падает неподалеку от летного поля. Мертв.

Это британский S.E. 5, с полосками командира. Я приземляюсь без капли горючего и заклинившей ручкой управления. Время 6.30 вечера.

Наконец мы получили от коменданта топливо, которого хватит для десятиминутного полета. Этого хватит только в обрез чтобы добраться до нашего нового места назначения.

Мы приземляемся на открытом поле. Все предшествующие дни английские самолеты огневой поддержки ежедневно штурмовали наши позиции. Каждый вечер с восьми до девяти часов два Сопвич Кемела появляются чтобы сбросить листовки. Кто-то показывает мне одну из них. У листовки черно-красно-желтая кайма. Дезертиры призывают солдат в окопах последовать их примеру.

"С восьми до девяти, говорите?"

Я сливаю немного горючего с самолетов моих товарищей и взлетаю. Солнце совсем низко на западе, оно окаймляет облака бледно-золотым. К югу от Фукокура я встречаю двоих. Один тут же летит на запад, другой остается и продолжает сбрасывать листовки. Мы маневрируем. На своем маленьком и более легком самолете он может делать более крутые виражи, чем я на тяжелом Фоккере D VII. Но я держусь за ним. Он пытается сбросить меня с хвоста и начинает петлю на высоте всего ста метров. Я следую за ним по пятам и в верхней точке петли чувствую легкий удар, а когда снова смотрю вниз, то вижу как он с трудом выбирается из-под обломков своего самолета. Немецкие солдаты берут его в плен. Я не знаю, что произошло. Наверное, я протаранил его, когда пролетал над ним. Сегодня это уже мой третий полет. На часах 8:40.

Через три дня я навещаю его в госпитале в Фукокуре. В обмен на листовки я приношу ему коробку сигар скрученных из листьев бука. Мои предположения оказались справедливыми. В верхней точке петли шасси моего самолета протаранили его верхнее крыло, которое отломилось сразу за стойками. "Я не был готов к бою на столь близкой дистанции", говорит он со смехом. Обаятельный парень, студент из Онтарио.

Через пятнадцать лет, на авиационном фестивале в Лос-Анжелосе я услышу о нем снова.

Роско Тернер приносит мне листовку по случаю своего успешного беспосадочного полета через весь континент. У нее черно-красно-желтая кайма, написана от имени предполагаемых дезертиров и адресована солдатам в окопах. Это последняя из его запаса, он забыл сбросить ее на меня в 1918 году.

В сумерках я приземляюсь на нашем аэродроме. Мы проводим ночь на земле, спим под нашими самолетами. Нас поднимают на рассвете. Танки идут!

Ночью привезли горючее и боеприпасы. Мы договариваемся о секторах патрулирования и взлетаем. Я вижу их между Бапаумом и Аррасом. Перед ними поднимается дымовая завеса и под ее прикрытием они ползут по плоской травянистой равнине. Их пятнадцать, могучие стальные черепахи. Они ползут, ползут, ползут.

Они уже миновали передовые немецкие позиции... вторую линию... они продолжают катиться к нам в тыл. Мы пикируем, стреляем из всех пулеметов, карабкаемся вверх и снова пикируем. Никакого результата. Как будто дятел стучит в железную дверь. Немецкая пехота отошла за железнодорожную насыпь на линии Бапаум-Аррас. Она поднимается над заболоченными лугами как крепостная стена из балластного камня высотой метра четыре. Оттуда их пулеметы стреляют куда -то в дымовую завесу, похожую на пар в прачечной. Без остановки и без всякой пользы.

Черепахи продолжают ползти. Одна из них только что достигла насыпи, она неуклюже влезает на склон и катится вдоль путей. Я вижу как наши солдаты бегут, оставляют позиции,

волокут за собой пулеметы. Они исчезают за неровностями земли и в канавах, наполненных водой.

Танк медленно карабкается вдоль железнодорожной насыпи, стреляя им вслед. Сейчас я смогу зайти на него сбоку. Я лечу на высоте всего нескольких метров, захожу справа, проношусь над ним, поворачиваю, захожу еще раз. Я так близко, что могу сосчитать заклепки на его стальных плитах. Вижу даже размытый клеверный лист у него на боку, то ли символ удачи, то ли полковую эмблему. Я вновь проношусь над ним, так низко, что мои колеса почти касаются верхушки орудийной башни. Я разворачиваюсь и захожу на него снова. Пользуясь этой тактикой я нейтрализую другие танки. Если они будут стрелять в меня, то попадут в него.

После пятой атаки я замечаю первые результаты. Танк неуклюже ползет к краю насыпи. Он хочет отойти и спрятаться за дымовой завесой. Я не позволяю ему скрыться из поля зрения и следую за каждым его движением. Осторожно он переваливает через край насыпи. Вот почти половина его стальной туши задрана в воздух. В следующий момент он скатывается по склону и переворачивается на спину, беспомощный как упавший жук.

Я захожу на него сверху, стреляя в легко бронированное дно. Гусеницы все еще вращаются. Правая соскочила с направляющего колеса и то высовывается вперед, как рука моллюска, то прячется назад. Танк сейчас лежит неподвижно, как мертвый, но я продолжаю стрелять. Люк со стороны орудийной башни открывается. Из него выползает человек, с трудом встает и поднимает руки вверх, его лицо - в крови. Я так близко, что все это ясно вижу. Но я больше не могу стрелять. Я использовал все боеприпасы до последнего патрона.

Я возвращаюсь на взлетную полосу, меняю пулеметные ленты и возвращаюсь. Все это длится не более двадцати минут. Но танк мертв. Он черен и неподвижен. Рядом с ним лежат три человека. Британские медики уже побывали здесь какое-то время назад. Они вытащили мертвых и положили их там. Я надеюсь, что их похоронит следующий обстрел.

Наступает ночь. С травы поднимается туман. Танковая атака отбита. Остановлена на линии Бапаум-Аррас.

Взволнованный голос в телефонной трубке: "У нас только что сбиты два аэростата.

Вражеская эскадрилья все еще кружит над нашими позициями."

Мы тот час взлетаем, все исправные машины четвертого звена. Мы направляемся к Бриге на высоте около одного километра. Под нами цепь немецких аэростатов, прямо над нами - британская эскадрилья, пять S. E. 5. Мы остаемся под ними и ждем их следующей атаки. Но они медлят и, похоже, избегают боя.

Неожиданно один из них стрелой проносится мимо меня по направлению к аэростатам. Я иду за ним. Это их командир. Я вижу узкий выпел на боку. Я иду вниз, вниз, вниз. Ветер свистит в ветровом щитке. Я должен настигнуть его, не дать ему подойти к аэростатам. Слишком поздно! Тень его самолета проносится по туго натянутой коже аэростата как рыба по мелководью. Наружу выбивается маленький голубоватый язычок пламени и медленно ползет по боку. В следующий момент фонтан огня выбрасывается там, где всего лишь мгновение назад желто-золотой мешок плыл в шелковистом солнечном сиянии.

Немецкий Фоккер набрасывается на англичанина, и вот уже второй, меньший по размерам огненный шар появляется рядом с первым, большим, немецкий самолет ударяется о землю, окутанный дымом и пламенем.

Делая крутой вираж, англичанин пикирует почти вертикально. Солдаты, обслуживавшие кабель аэростата разбегаются в разные стороны, но S. E. 5 уже выровнялся и несется на запад над самой землей. Он так низко, что машина сливается со своей тенью. Но я уже повис на его хвосте и начинается дикая гонка всего в трех метрах над землей. Мы перепрыгиваем через телеграфные столбы и огибаем деревья. Могучий прыжок над шпилем церкви в Марекюре, но я лечу за ним как приклеенный. Я не собираюсь его отпускать.

Главная дорога на Аррас. Обсаженная зелеными деревьями, она тянется через ландшафт как зеленая стена. Он летит справа от деревьев, я - слева. Каждый раз когда между деревьями разрыв, я стреляю. Вдоль дороги, на лугу, укрепились немецкая пехота. Хотя я у него на

хвосте, он начинает стрелять в них. Это его ошибка.

В этот самый момент я перепрыгиваю через верхушки деревьев - нас разделяет не больше десяти метров - и выпускаю очередь. Его машина трясется. Ее кидает из стороны в сторону. Сваливается в штопор, касается земли, отскакивает снова как камень, пущенный над поверхностью воды, и скрывается за маленькой березовой рощицей. Вверх вздымается облако пыли.

Пот струится у меня по лицу, затуманивая летные очки. Я вытираю лоб рукавом. Середина лета, 22 августа, 12:30 дня, самый горячий день года. Почти сорок градусов выше нуля, а во время преследования мой мотор делал 1600 оборотов в минуту.

Я оглядываюсь по сторонам и вижу три S. E. 5. Они оторвались от моего эскадрона и теперь пикируют на меня чтобы отомстить за смерть своего мертвого командира. У самой земли я облетаю березовую рощу. Я быстро оглядываюсь через плечо. Они разделились. Двое поворачивают к западу, оставив меня наедине с третьим.

Теперь я знаю, что имею дело с тактически грамотным и умелым оппонентами. Новички налетели бы на меня всем скопом. Старый летчик-истребитель знает, что во время преследования ты только мешаешь другим.

Дела мои складываются неважно. Тот, третий самолет приближается ко мне. Я оцениваю дистанцию примерно в тридцать метров, но он не стреляет. "Он хочет сбить меня тремя-четырьмя выстрелами", догадываюсь я.

Ландшафт состоит из мягко перекатывающихся холмов, испещренных маленькими рощицами. Я кружусь вокруг них. Среди деревьев я замечаю немецких пулеметчиков. Они наблюдают на нас. "Если бы они только начали стрелять, чтобы избавить меня от преследования." Но они не стреляют. Возможно, мы слишком близко друг к другу, они боятся, что попадут в меня во время этих скачков вверх-вниз. Я смотрю на землю. Вот здесь мне и предстоит разбиться!

Затем я ощущаю легкий удар по колену. Я смотрю вниз и чувствую сладковатый запах фосфора, дыра в коробе для боеприпасов. Жарко - начиненные фосфором зажигательные патроны загорелись - через несколько секунд мой самолет будет объят пламенем.

В такой ситуации лучше не раздумывать. Нужно либо действовать, либо погибать. Нажатие на спуск пулемета и я разряжаю свои пулеметы в голубое небо, за трассерами тянутся белые дымки.

Я оглядываюсь через плечо, зажав дыхание, и затем делаю несколько глубоких вдохов-выдохов. Противник поворачивает, избегая полос белого дыма. Может быть он подумал, что я стреляю назад. Я лечу домой.

Коснувшись земли я продолжаю какое-то время сидеть в кабине. Беренд помогает мне вылезти. Я иду в штаб.

"Сегодня прибывает обер-лейтенант Геринг", говорит сержант. Я смотрю на него пустыми глазами.

"Геринг, наш новый командир", добавляет он.

"Да, да". Мой собственный голос звучит странно. Я должен пойти в отпуск. Немедленно. Прямо сейчас. Он не должен видеть меня в таком состоянии.

Когда я возвращаюсь из отпуска, группы расквартирована в Меце. Потери высоки.

Смертность 300 процентов. Три раза за войну полностью обновился офицерский состав группы. Не осталось почти никакого из тех, кто делал первые боевые вылеты с капитаном. По этой причине Верховное Командование вытащило нас из этого горячего места и на короткое время разместило в спокойном секторе.

Когда я прибываю, Геринг как раз патрулирует вместо со своим звеном. Он призмляется, мы приветствуем друг друга. Его лицо мрачно. Его поставили на место Рихтгофена потому что он считается самым передовым стратегом во всей армейской авиации. В этом мертвом секторе его талант опущен на землю и ему приходится вести свои битвы на бумаге.

"Привет, Удет", бормочет он.

Сразу же после нашей встречи я взлетаю с моим звеном. Разрывы на горизонте, маленькие

черные облачка немецких зениток показывают, что артиллеристы заметили вражеский самолет. Они подходят ближе, семь самолетов, двухместные, типа ДеХавилленд-9. Мы - вшестером. Но это американцы, новички на фронте, в то время как самый молодой из нас имеет минимум два года фронтового опыта.

Мы встречаемся неподалеку от летного поля. Вся битва длится не больше пяти минут. Глючевски сбивает одного, Краут - другого. Мой падает, объятый пламенем, недалеко от Монтенингена. Другие разворачиваются и летят домой. Один проносится прямо надо мной. Я захожу на своем Фоккере ему в хвост и открываю огонь. Он не может ускользнуть от меня. Он сам влетает в очередь и взрывается в пятидесяти метрах надо мной, так что мне приходится резко пикировать и отворачивать в сторону, чтобы избежать столкновения с горящими обломками.

Третий проходит мимо меня, направляясь на запад. На его хвосте - полоски командира. Я иду за ним. Когда он замечает, что его преследует, он поворачивается и смотрит на меня. Откуда-то сбоку раздаются звуки стрельбы. Я чувствую сверлящую боль в левом бедре, горячее хлещет из пробитого бака, поливая меня как из душа.

Я выключаю зажигание и сажусь. Мои товарищи собираются вокруг. Они могли наблюдать весь ход боя прямо с летного поля. Они говорят взволнованно: "Ну Удет, парень, тебе повезло.. впервые за четыре недели видим неприятеля... только сегодня возвратился из отпуска и такой подарок..."

Я вылезаю из смолета и смотрю на рану. Пуля прошла через бедро. Рана все еще кровоточит. Все расступаются в стороны и ко мне подходит Геринг. Я докладываю: "Шестьдесят первый и шестьдесят второй сбиты. Я легко ранен. Прострелена левая щека, лицо не повреждено." Геринг смеется и трясет мне руку.

"Здорово, когда сидишь здесь и оставляешь друзьям все победы", говорит он как хороший боевой товарищ.

И затем приходит конец, невероятный для всех нас, кто воевал до конца. Мир, который никто из нас не принимает.

И вот однажды я держу в руке маленький клочок бумаги, это приказ о моем увольнении из армии.

(Перевод Е. М. Ковалева, 1999-2000

Е.М. Ковалев

Эрнест Удет: краткая биографическая справка

Эрнест Удет - один из самых ярких летчиков в истории немецкой авиации, легендарный истребитель в годы первой мировой войны, в 1930-е годы стоявший у истоков Люфтваффе, пилот-испытатель, космополит по своим политическим взглядам, путешественник, способный художник-карикатурист, человек, имевший множество друзей и поклонников по всему миру.

Удет родился в семье мюнхенского предпринимателя 26 апреля 1896 года и заинтересовался авиацией еще в детстве. Семейная легенда гласит, что первым его знакомством с воздухоплаванием стал прыжок с крыши дома с зонтиком в руках. Удет начал первую мировую войну в качестве курьера-мотоциклиста, но был переведен в авиацию и впоследствии стал одним из наиболее известных пилотов-истребителей Имперской германской армии. Одержав 62 подтвержденные победы в воздухе, он пережил войну,

добившись второго результата после "Красного барона" Манфреда фон Рихтгофена. Невероятный успех Удета отчасти объясняется тем, что в нем удачно совмещались два ключевых для пилота-истребителя качества - превосходный пилотаж и выдающееся тактическое зрение. Но немаловажную роль сыграла и просто удача. Удет был практически единственным пилотом-асом первой мировой войны, который сумел покинуть в воздухе поврежденный самолет и остался при этом в живых.

После войны Удет был демобилизован, а некогда грозные германские военно-воздушные силы, в соответствии с Версальским мирным договором, прекратили свое существование. В 1922 он, вместе с компаньонами, основывает частную самолетостроительную фирму, выпустившую несколько спортивных и тренировочных машин, но вскоре прекратившую свое существование из-за финансовых проблем. В 1920-е годы Удет много путешествует, охотится на львов в Африке, снимает фильмы, организует полярные экспедиции, посещает Северную Америку и заводит там многочисленных друзей, испытывает новые самолеты, прокладывает гражданские авиалинии и демонстрирует искусство пилотажа на аэрошоу по всему миру. На Национальных авиационных состязаниях в Кливленде, в 1931 году, он наблюдает за полетами бомбардировщика "Хеллдайвер" фирмы Кертисс и, пораженный точностью попаданий в цель при пикировании, позже уговаривает Геринга приобрести две машины для испытаний и демонстрационных полетов. В начале 1930-х он начинает работу над книгой мемуаров, подкупавшую читателей своим искренним и драматичным стилем, напоминающим "На западном фронте без перемен" Э.-М. Ремарка.

После прихода к власти нацистов, Герман Геринг, последний командир истребительной группы Рихтгофена, в которой служил и Удет, начал рекрутировать своих старых боевых товарищей во вновь создаваемые германские военно-воздушные силы. Удет оказался одним из первых в списке Геринга и 1 июня 1935 года вступил в Люфтваффе в чине оберста. 10 февраля 1936 года он стал преемником Риттера фон Грейма на посту Инспектора истребительной и пикирующей авиации. Но Удет недолго занимал эту должность, так соответствовавшую его кругозору и темпераменту. 9 июня он был назначен главой Технического департамента Люфтваффе и сделан ответственным за проведение всей технической политики.

Оставаясь в первую очередь пилотом до мозга костей и предпочитая во всем личный пример, - урок покойного Рихтгофена, Удет активно участвует в испытаниях новых самолетов. В начале 1936 года он организует показательный бой, в ходе которого, пилотируя истребитель Арадо-68, одерживает верх над оппонентом - Хейнкелем-51. Удет лично убеждается в высоких боевых качествах новаторского Вф-109 (Ме-109), к которому поначалу отнесся крайне отрицательно, поскольку тот мало напоминал традиционный истребитель-биплан времен его молодости. Удет взлетает на новом пикирующем бомбардировщике Хе-118, но, не разобравшись со сложным механизмом регулировки шага винта терпит аварию и в последний момент спасает свою жизнь, выбрасываясь с парашютом. В итоге окончательное предпочтение отдано более консервативному по конструкции но надежному пикирующему бомбардировщику Ю-87, которому суждено стать символом ударной мощи немецкой авиации в годы второй мировой войны, а душераздирающий звук его сирены, - идея Удета, - вскоре будет раздаваться над многими странами Европы. Опираясь на всемерную поддержку Геринга и, поначалу, Мильха, Государственного секретаря по делам авиации, 1 апреля 1937 года Удет произведен в генерал-майоры. 6 июня 1936 года он ставит новый мировой рекорд скорости на самолете Хе-100V2 - 635 км/час, а 1 ноября 1938 получает чин генерал-лейтенанта.

В это время Удет, достигший пика своего влияния, дает волю одному из самых негативных качеств своей противоречивой натуры - маниакальной подозрительности. Постепенно оттеснив Мильха на задний план и не ставя его в известность о работе Технического департамента, Удет теряет его поддержку и теперь должен полагаться только на себя в решении сложных текущих проблем своего ведомства, не имея к этому ни особых административных склонностей, ни практического опыта.

Результатом его некомпетентности в организационных и технических вопросах стал низкий выпуск боевых самолетов, длительные задержки массового производства бомбардировщиков Ю-88, недостаточный радиус действия разрекламированного дальнего бомбардировщика Хе-177, неудачи двухмоторных истребителей Ме-110 в ходе "Битвы за Англию" летом 1940 года, фатальное промедление с созданием боевых реактивных самолетов. Удет, ставший к тому времени генерал-полковником, отказался сократить число моделей, предназначенных для массового производства и за первых полтора года войны инициировал шестнадцать крупных самолетостроительных программ, не считая большого числа специальных самостоятельных проектов по модернизации. Одних только заместителей у Удета насчитывалось 22 человека. Представитель Хейнкеля в Берлине в письме к своему шефу назвал сумятицу, которую он наблюдал в Техническом департаменте "просто невероятной".

С началом войны с Советским Союзом и ростом потерь, ошибки, допущенные ведомством Удета, становятся очевидными. Теперь даже правильные, как об этом можно судить в ретроспективе, предложения Удета не получают должной поддержки. Ему не удалось повлиять на решение Гитлера, принятое в ходе подготовки к плану Барбаросса о снижении приоритета Люфтваффе в получении финансовых и сырьевых ресурсов. Мало внимания было уделено идеям Удета о срочном создании мощной истребительной авиации ПВО, способной остановить воздушные бомбардировки Германии. Никто не слушает его предостережений о необходимости сохранить хорошие отношения с США и не допустить их присоединения к антигитлеровской коалиции.

Геринг, в гораздо большей степени доверяющий теперь административным талантам Мильха, 20 июня 1941 года сделал этого главного соперника Удета ответственным за исправление допущенных ошибок в технической политике и возложил на него же задачу в течение полугода увеличить выпуск боевых самолетов в четыре раза. Тем не менее, не желая обидеть Удета, своего старого боевого товарища, он отказался от ограничения его полномочий, и не стал искать для него другой, более подходящей должности, что, возможно, сохранило бы Германии жизнь одного из ее наиболее известных летчиков.

Самолюбие Удета болезненно ущемлено, любезные приглашения Геринга поохотиться больше ни в чем не убеждают, а пошатнувшееся здоровье не могут уже поправить ни сильнодействующие лекарственные препараты, ни длительное пребывание в санаториях. Авиапромышленник Фриц Зибель, старый друг Удета, описывал его в те дни как "смертельно усталого, апатичного человека, страдающего от кровотечений, головокружения и сильных болей в ушах, с которыми так и не смог справиться ни один доктор".

Утром 17 ноября 1941 года Удет переоделся в полную генеральскую форму, позвонил своей любовнице Инге Блейль и сказал торопливо, что не может больше выдержать унижений и решил покончить жизнь самоубийством, после чего та, оцепенев от ужаса, услышала в телефонной трубке звук пистолетного выстрела. Одна из предсмертных записок, оставленных Удетом, была адресована лично Герингу и обвиняла "Железного человека" в предательстве их старой дружбы, начавшейся в 1918 году. В официальном правительственном сообщении было объявлено, что Удет погиб при испытаниях новой техники. Для того, чтобы пресечь распространение слухов о самоубийстве, его похоронили в закрытом гробу.

Смерть Удета стала косвенной причиной еще одной невосполнимой потери для Люфтваффе. Вернер Мельдерс, выдающийся немецкий ас, одерживавший победы в Испании, Франции, России и первым преодолевший рубеж 100 сбитых самолетов, получив сообщение о смерти Удета, срочно отправился в Берлин на похороны, но в условиях плохой видимости транспортный Хе-111, на котором он летел пассажиром, при заходе на посадку в Бреслау задел крылом за фабричную трубу и разбился вместе со всеми, кто находился на борту.